

63.3 (2Рос-УХ-6Е)

Б 273

Иосиф Баскин



САЛЮТЫ И РАССТРЕЛЫ

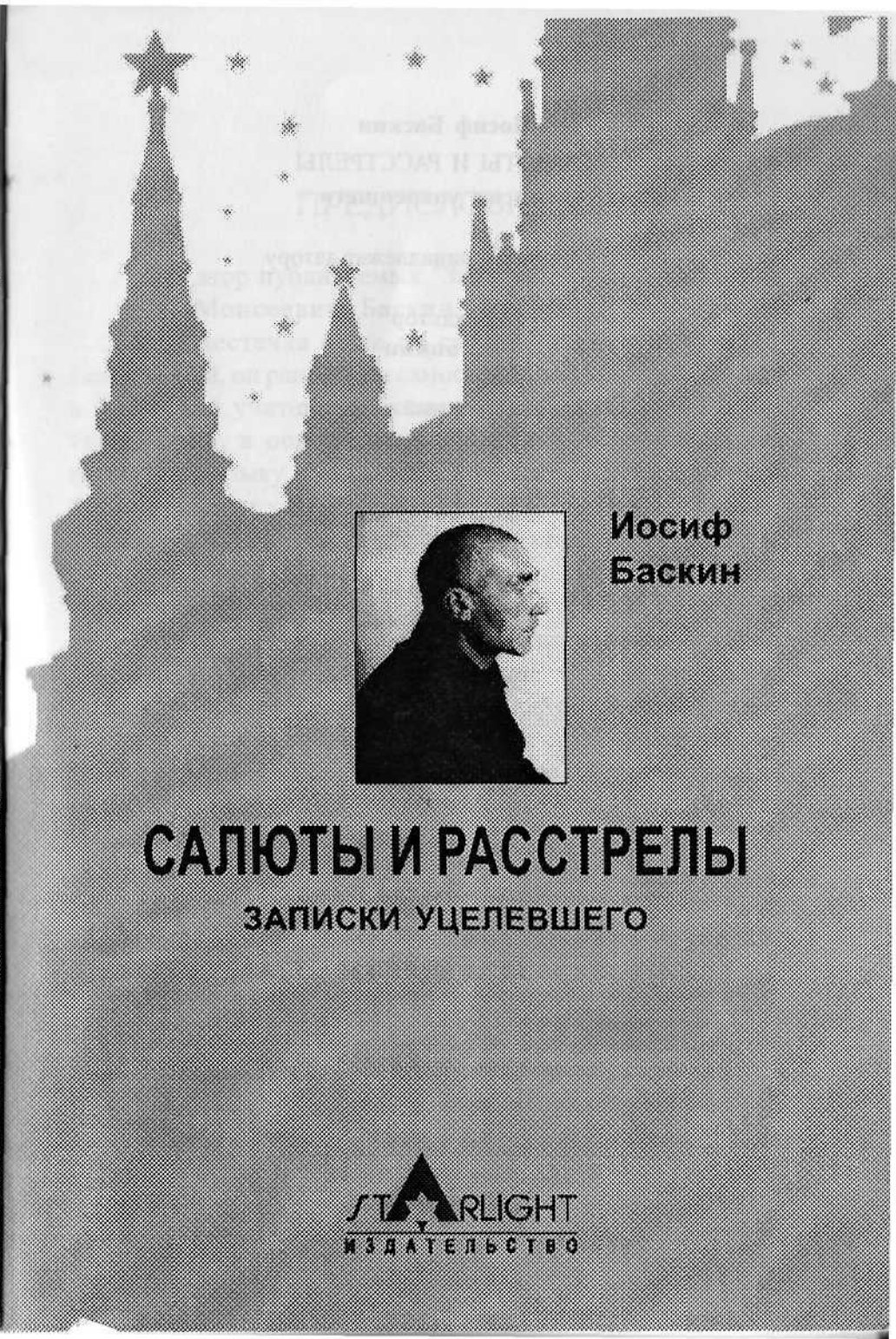
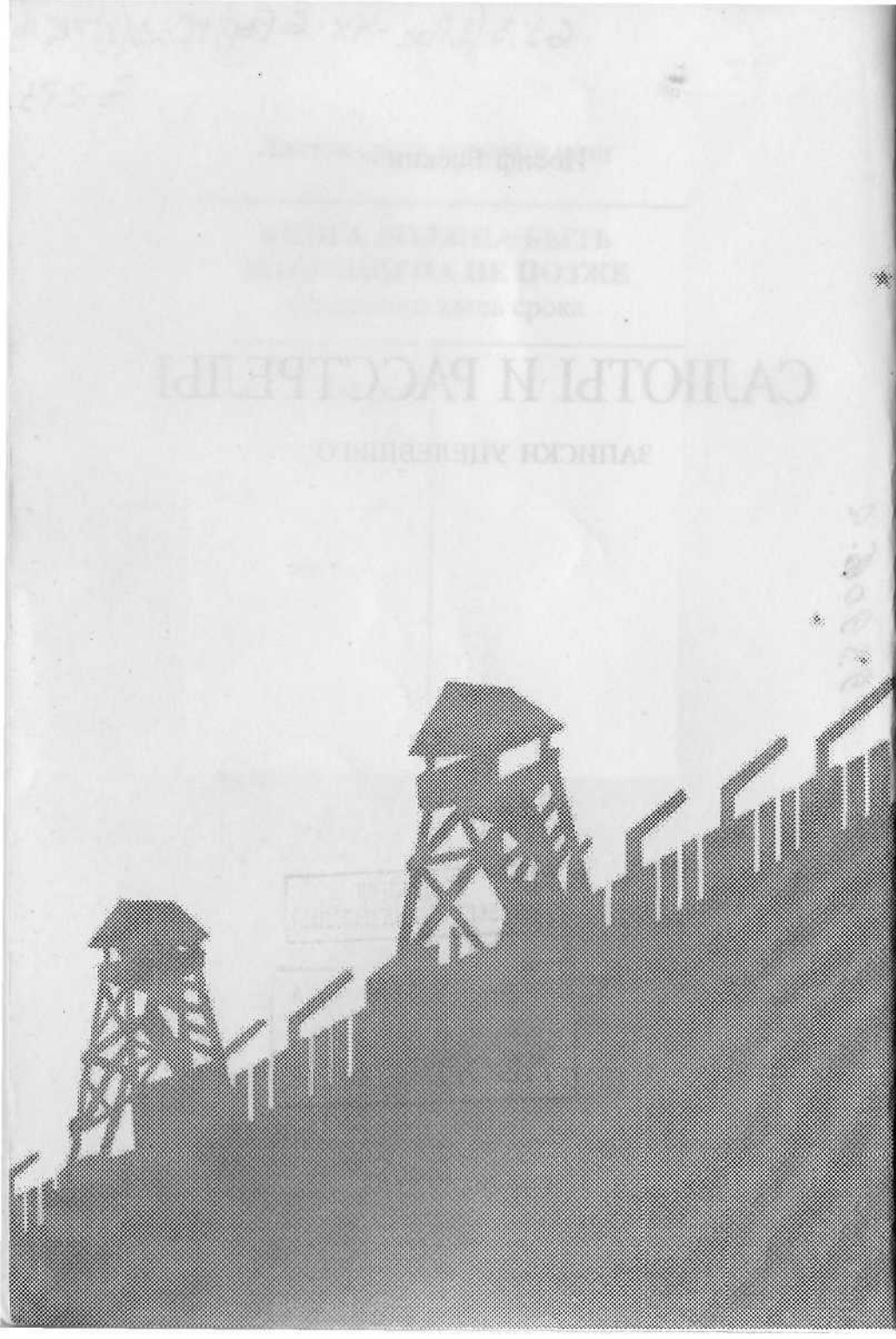
записки уцелевшего

Иосиф Баскин

САЛЮТЫ И РАССТРЕЛЫ

ЗАПИСКИ УЦЕЛЕВШЕГО

Израиль, 1999 г.



Иосиф
Баскин

САЛЮТЫ И РАССТРЕЛЫ

ЗАПИСКИ УЦЕЛЕВШЕГО

STARLIGHT
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Иосиф Баскин
САЛЮТЫ И РАССТРЕЛЫ
записки уцелевшего

© все права принадлежат автору

Редактор
А. Ронкин

Художественный редактор
Ш. Асин

Технический редактор
Л. Минц

Художник
Т. Бернштейн

Дизайн обложки
С. Натин

Корректор
Г. Максимов

Публикация и литературная
обработка - **Изакий Баскин**

Эта книга - документальное свидетельство о строительстве по инициативе Сталина Еврейской автономной области на Дальнем Востоке, закончившемся для его участников расстрелами, лагерями, ссылкой.

Издательство "STARLIGHT"
Тель-Авив, ул. А-Шарон, 21
Тел.: **03-537-95-48**

ПРЕДИСЛОВИЕ

Автор публикуемых "Записок" - мой отец Иосиф Моисеевич Баскин. Уроженец еврейского местечка Опса на стыке Литвы с нынешней Белоруссией, он рано начал самостоятельную жизнь. Учился в Виленской учительской семинарии, подрабатывал репетиторством, в основном специализируясь по древнееврейскому языку. Семья была большая: три сына, четыре дочери, денег не хватало, хотя отец имел своего коня и извоз. Он торговал льном, хлебом, фруктами, но не очень успешно.

В 1915 году он заболел тифом и умер. Тогда в Опсе было много солдат, рядом проходил фронт. Многие в селе переболели тифом. В памяти сохранилось, как мама на саночках везла труп отца на кладбище. Следом шли дети, несколько родственников. Грустная картина! Отец мечтал выучить способного и жадного к учебе сына на раввина, но тот вернулся домой безбожником. Вскоре он совсем ушел из дома. Мама отдала ему единственные отцовские сапоги. Иосифу шел шестнадцатый год.

Он оказался на обетованной земле Палестины. Здесь работал бетонщиком, землекопом, сборщиком фруктов на апельсиновых плантациях. Участвовал в рабочем движении, в его левом крыле. В 1924 году стал коммунистом.

С этого времени неоднократно арестовывался за противоправительственную деятельность. В 1928 году после очередного ареста был выслан в коммунистическую мекку - СССР. Здесь его приняли ласково, направили на учебу в Комвуз - Коммунистический университет национальных меньшинств имени Мархлевского, где фактически готовили подпольщиков по линии Коминтерна. За время учебы он

неоднократно засылался с разными заданиями в Турцию, Палестину, Египет.

Одна из "командировок" закончилась для него плачевно: он был схвачен полицией во время подготовки теракта и приговорен к расстрелу. Ему удалось бежать из камеры смертников и он снова оказался в СССР. Теперь уже насовсем, безвыездно.

Ему дали новое задание: Биробиджан. Он загорелся идеей еврейской автономии и стал одним из организаторов переселения евреев на Дальний Восток. Мечта о собственной республике в составе СССР подняла евреев со всего света. В Биробиджан ехали из благодатного Крыма и болотистой Белоруссии, далекой Америки и благополучной Европы. Ехали семьями и в одиночку, с легкими чемоданчиками в руках и горами домашнего скарба, коммерсанты и врачи, местечковые обыватели и мировые знаменитости. Все были воодушевлены и полны радужных надежд.

Увы, по приезде путешественников ждало горькое разочарование. Их селили в щелястые холодные бараки. Не хватало продовольствия. Одолевали болезни. Мучили гнус, холод, сырость.

А на маленькую таежную станцию Тихонькая продолжали прибывать эшелон за эшелонам новые партии обманутых, измученных долгой дорогой людей.

Для тех, кто задумал и руководил этой акцией, переселение тысяч евреев в Биробиджан было вопросом большой политики. Важно было произвести впечатление на внешний мир. Впервые в своей многовековой истории притесняемый, всеми гонимый, презираемый народ получал собственную территорию, где мог устроить свое национальное гнездо. Так решают вопросы большевики, когда они приходят к власти. Это должен был видеть весь мир.

На фоне этой грандиозной задачи сущими мелочами

выглядели неудобства, страдания людей, их разочарования в возмущения. Большевики никогда не останавливаются на полдороге. Трудности всегда были и будут, но намеченное должно быть выполнено. Планы переселения, следовательно, - закон для исполнителей, их оспаривание, срыв рассматриваются как саботаж.

Иосиф Баскин занимал должность заведующего переселенческим отделом в облисполкоме, находился в центре событий. На него прежде всего давил пресс начальственного спроса. А с другой стороны, он непосредственно общался с прибывающими: встречал их, расселял, выслушивал жалобы, просьбы. Между молотом и наковальней - иначе не назовешь его положение. Рано или поздно молот должен был опуститься.

Когда в 1935 году переселенческий конвейер затормозился, отец стал главным ответчиком. Что ни говори, задание особой важности - так это тогда формулировалось - оказалось сорванным. Отца сняли с работы, отняли партийный билет.

В "записках" подробно рассказывается о перипетиях его поединка с первым секретарем обкома Власовым. В течение нескольких лет отец требовал, к примеру, увеличения строительства жилья для приезжих. Ему отказывали, ссылаясь на отсутствие средств. Однажды он заявил об отказе в приеме людей. Когда это в самом деле произошло, ему припомнили старый факт. Зазвучали угрожающие формулировки: "саботаж", "противодействие". Над отцом нависла угроза ареста.

К счастью, за него вступился высокий чин из края: первый секретарь Далькрайкома Лаврентьев, которому отец был благодарен потом всю жизнь. В дальнейшем Лаврентьев сам был невинно арестован и погиб. Благодаря его вмешательству дело на этот раз кончилось для отца благополучно. Ему вернули партийный билет, назначили директором крупного предприятия: Вединской машино-тракторной станции под Хабаровском.

Но то было лишь временное затишье. Начался 1937 год, а с ним вакханалия расправ с неугодными. Отец был арестован в августе 1938 года и провел в тюрьмах, лагерях, ссылке в общей сложности семнадцать лет - до освобождения в 1955-м.

Большая часть страниц "Записок уцелевшего" - об этих годах. Читатель может убедиться, что несмотря на некоторую схожесть описываемых ситуаций с другими авторами, что естественно для одних и тех же событий, у "Записок" свой взгляд, свой круг героев, своя география и проблематика. Например, такая деталь: в 1946 году его освободили на короткий срок, выговорив в качестве условия негласное осведомительство. Муки бывшего узника, вынужденного доносить на товарищей, оказались несопоставимыми даже с несвободой. Отец предпочел вернуться в тюрьму, но не быть сексотом.

"Записки" отличаются также постоянным присутствием в них, кроме автора - главного героя, еще одного персонажа, его жены. Образ матери в его описании чрезвычайно симпатичен. Татьяна Мосткова была очень цельной и талантливой женщиной. Если отец был человеком бескомпромиссным, то она своей мягкостью, открытостью располагала к себе буквально всех, с кем общалась. Чем бы она ни занималась, все ей давалось легко, без видимых усилий. Она была прекрасным агрономом, легко и увлекательно писала статьи, вкусно готовила. На ее плечи легло много испытаний, из которых она не только успешно всегда выходила сама, но и умудрялась выручать своего порой слишком прямолинейного и недипломатичного мужа. Достаточно сказать, что в разгар войны она его разыскала в Находке, больного, только что этапированного из Колымы, и добилась перевода его в Хабаровск. И дальше она всегда находилась с ним рядом, до конца.

Умер отец в 1976 году. После освобождения он прожил

еще двадцать лет, напряженных, конфликтных, оттепельно-застойных, о которых также оставил воспоминания. Пожалуй, вторая часть их под названием "Освобожден, но очень опасен", пока неопубликованная, еще более захватывающая и трагическая, чем "Записки". Трагедия заключалась в том, что он не отказался от грез своей юности. Что-то было для него в коммунистической идее такое, что привлекало до конца жизни. Он оставался в убеждении, что случившееся с ним - не от ложности идеи, а от бездарности ее воплощения.

У него была масса мыслей, предложений по совершенствованию системы. После двадцатого съезда он изложил их в письме в ЦК. Там было многое из того, что опасно и с оглядкой начал осуществлять и внедрять в жизнь через тридцать лет Горбачев: свобода слова, самоуправление предприятий, частная собственность, отмена цензуры печати, свобода выезда за границу. Разумеется, вразумительного ответа на свое письмо он от адресата так и не дождался. Но, слава богу, оргвыводов не последовало, по крайней мере, явных, открытых.

Хотя за границу, к единственной уцелевшей сестре, его все-таки не пустили. И странным образом вдруг застопорился вопрос с подмосковной пропиской. По случайному совпадению осложнились отношения на работе, о чем он не без юмора вспоминает во второй части.

Через тридцать лет, как мы теперь видим, реализация только части предложенного им оказалась смертельной для системы. Можно понять, следовательно, что те, кто всеми силами препятствовал новшествам, уже в то время не отвечал на письма и предложения, были достаточно дальновидными людьми. Сейчас-то мы определенно знаем, что демократия и коммунизм несовместимы. Но тогда, сразу после освобождения, отец был полон надежд и созидательных проектов. Хрущевская оттепель, двадцатый съезд давали к этому повод.

Да к тому же сначала заграница, а потом длительная изоляция от общества лишили его понятий, какие любой советский ребенок впитывает с молоком матери: например, что воровать у государства не зазорно, а, наоборот, вполне естественно, что глупо жить на одну зарплату, а умение обходить законы - не преступление, а великое искусство, достойное восхищения.

Когда ему предложили подписать фиктивный акт на забой больного скота и при этом отваливали за содействие половину вполне здоровой говяжьей туши, он глупо доложил об этом органам. Разумеется, факты по проверке не подтвердились. И ящики с ранними овощами он не стал грузить в багажники легковых машин, хотя владельцы их были важные и очень нужные люди. Люди эти немало могли ему помочь, и, в частности, с пропиской, а еще больше могли напортить, что в результате и случилось. Такой он был неразумный человек. На партийном собрании предложил открыть дискуссию в связи с разоблачением антипартийной группы Маленкова-Молотова в 1957 году. Видите ли, ему недостаточно оказалось официальной информации, он желал бы задать партии свои вопросы. Белое он называл почему-то белым, а подлое - подлым, и не включался в послушный хор по поводу венгерских событий, а в случившемся конфликте совхозных водителей с администрацией почему-то решительно принял сторону водителей.

Неудивительно, что сначала ему отказали в прописке, затем вспомнили, что у него нет агрономического образования, наконец, просто-напросто сократили его должность. И он оказался на пенсии, хотя был полон сил и жаждал работать. Правда, пенсии льготной, персональной, как коммунист со стажем, к тому же пострадавший.

И тут началась третья, заключительная часть его биографии. Трезвое осмысление происходящего, пересмотр

прежних убеждений и взглядов. Встречи с бывшими сокамерниками и однодельцами. Путешествия, новые свидетельства и знакомства.

На родине, в Опсе, ему показали яму, в которой закопаны его родные, расстрелянные немцами. В их доме теперь жили чужие, незнакомые люди. Он узнал, что многие земляки помогали немцам, чтобы вселиться в освободившиеся дома расстрелянных. А те из них, что сами расстреливали, были реабилитированы и уже на свободе. Евреев в Опсе почти не осталось. Вместо кладбища - заросший бурьяном ров без всякого указателя. И только одно-единственное надгробие погибшей семье оставил некто Левин, приехавший сюда как-то вскоре после войны. Сейчас надгробий стало два.

В Кисловодске, в санатории персональных пенсионеров он неожиданно оказался за одним столиком с бывшим следователем, тоже теперь персональным пенсионером. И еще много горьких открытий, встреч, потрясений было в этот период.

Он прочел самиздатовского Солженицына, многих других бывших узников и сам каждый день садился за тетрадку. Он оставил целый чемодан рукописей. Кроме мемуаров и дневниковых записей, это серьезные исторические исследования. Об их тематике говорят хотя бы названия: "От Маркса до Мао", "Записки коммуниста-демократа", "Мир сегодня", "Размышления о сельском хозяйстве".

Вряд ли он рассчитывал на публикацию. Но насколько прозорливыми, опережающими время оказались многие его мысли! Кажется, вся нынешняя жизнь проходит по написанному им сценарию. И это дает надежду, что написанное найдет своего исследователя, будет не только прочитано, но и использовано во благо.

*Изакий Баскин
Израиль, 1999 г.*

1. ВОПРОС БОЛЬШОЙ ПОЛИТИКИ

Вызов к Власову не предвещал мне ничего хорошего. Сидя в приемной обкома под испытующим взглядом Ильича со стены, я уговаривал себя сохранять выдержку, в полемику не вступать, не перечить. И все-таки я схватился с ним. Это было самоубийственно для меня, но я не смог удержаться.

Конечно, выдвинутые им против меня обвинения легко рассыпались: все факты подтверждали не его, а мою правоту. Власов отступил. Но, видимо, сам факт противодействия, несогласия с мнением лег на меня с этого дня клеймом оппозиционера. Здесь начало моих дальнейших мытарств.

Власов - первый секретарь обкома только что созданной Еврейской автономной области. Он прислан к нам в Биробиджан Центральным Комитетом партии. До того возглавлял парторганизацию одного из крупных городов центральной России. Оттуда же прибыла с ним многочисленная группа соратников.

А я - в недавнем прошлом член Палестинской подпольной коммунистической партии, политэмигрант, после нескольких лет учебы в Коммунистическом университете национальных меньшинств - был такой в то время в Москве - по собственной инициативе приехал в Биробиджан задолго до них. К приезду Власова с компанией я уже здесь, можно сказать, старожил, работаю почти пять лет, женился, имею сына. Мы, группа энтузиастов, с воодушевлением готовились к приему будущих переселенцев.

На первом областном партийном активе, вскоре после учредительной партконференции, Власов доложил о

намечаемых капиталовложениях в области. Он зачитал список запланированных к строительству объектов: мясокомбинате, мебельной, швейной, рыбконсервной фабриках, национальном театре, двух техникумах, медицинском и педагогическом, сообщил о плане приема десятков тысяч евреев-переселенцев. Предусматривалось заселить ими не только областной город Биробиджан, бывшую мало кому известную станцию Тихонькую, но и только что созданную Переселенческую МТС, будущие колхозы, шахты, рудники - их был не один десяток.

Известия эти, естественно, встречены нами, старыми партийцами, с большим энтузиазмом. Мы активно включились в организаторскую работу. Составление проектов, смет, отвод участков для строительства, каждодневный прием новых партий переселенцев. Трудности с жильем, питанием, обеспечение прибывших самым необходимым. Заседания, совещания, ругань, конфликты, выезды на места, разбирательства. Нервная суматошная работа, бесконечная череда вопросов с утра до вечера. Власов во главе дела, и это, естественно, влечет нас к нему. Но и отталкивает. Он и его люди вносят в наши привычные товарищеские отношения нечто такое, что вызывает... еще не протест, нет, но - недоумение.

Во-первых, своим высокомерием. Не только по отношению к переселенцам и местному населению, но и к нам, кадровым работникам. На каждом шагу подчеркивается, что проделанная нами работа - никчемная, применяемые методы - устаревшие, результаты - мизерные. И если мы хотим достигнуть какого-то успеха, то для этого есть единственный способ: учиться у них, приезжих. Это было обидно, несправедливо. Мы здесь начинали, немало уже построили в городе, заложили основу промышленности, организовали несколько колхозов. Приобрели определенный опыт в непростых для

приезжего человека таежных условиях Приамурья, готовы были поделиться им. И перенять, разумеется, чужой опыт тоже. Но не в такой высокомерной пренебрежительной форме. К тому же некомпетентность, бахвальство угнетали, вызывали конфликты. Некоторые стали просить о переводе в Хабаровск. Другие, вроде меня, предпочитали терпеть, молча проглатывая обиды.

Во-вторых, коробил демонстрируемый пришельцами стиль действий, смесь наглости, самоуверенности и барства. Власов никогда не поедет в район запросто, один. Обязательно в сопровождении свиты. Тут и помощник с блокнотом, и охранник-телохранитель, и представители разных ведомств, учреждений. Среди последних - я.

После учреждения автономии я назначен заведующим переселенческим отделом облисполкома. Отношения мои личные с Власовым сложные, противоречивые. Я тщательно скрываю от товарищей свое истинное отношение к нему. Откровенно говоря, я истомился по настоящему делу. До чертиков надоели споры, бесплодные разговоры до полуночи о будущем административном устройстве, создании национальных кадров интеллигенции, газете, журнале, школах, театре и тому подобном. Не все ли равно, в конце концов, будет автономная республика, область или национальный округ? Приезд Власова означал, что решение принято, и теперь главное: действовать. Я жаждал дела, и эту возможность открыл для меня он.

И вот мы внезапно наезжаем в колхоз или совхоз, накрываем ничего не подозревающих хозяев, так сказать, с головой, тут же готовим на них разоблачительный материал. "Сам" после отдыха проводит с нами совещание. Никто, разумеется, ни с кем не совещается, нам дают указания, приказывают, предупреждают.

Я, сам участник набега, делаю то же, что и остальные:

раскладываю вину на конкретных виновников. Затем остается узкий круг: только областные и районные руководители. От нас требуют "мероприятий". Не выслушав до конца, перебивают, "в последний раз" предупреждают.

Я чувствую, как уходит, истекает из меня все, что было во мне смелого, независимого, образовавшуюся пустоту заполняет липкий противный страх. Я превращаюсь в пассивного исполнителя, трусливого нерассуждающего подчиненного. Здесь не требуются инициативные люди, только подчиненные, ничего больше.

С приездом Власова мы узнали также, как далеко отстали от центра в деле создания особых привилегированных условий для актива. Закрытый распределитель, спецмагазин, столовые "Десятка" и "тридцатка", отдельные особняки для руководства, а повсеместно явный недостаток в пище, одежде, жилье.

У нас с женой, правда, есть комната, нам грех жаловаться. Три года назад мы простудили в ней нашего первенца, маленькую дочурку. Она умерла по нашей вине. Не было ни опыта, ни надлежащей заботы о ребенке. Родных рядом никого, а общественные заботы много важнее личных. Но сейчас мы научены горьким опытом. У нас растет здоровый сын Нюся, Наум. Мы заранее подготовились к зиме, утеплились, заготовили достаточно дров и очень довольны тем, что питаемся в "тридцатке" - столовой для среднего состава. Здесь нам не грозит голод.

Но меня угнетает, что между мной, живущим в сравнительном достатке, и другими, которые льгот вовсе не имеют, растет стена отчуждения недоверия, вражды. По ту сторону ее мне верят все меньше и меньше. И я мучаюсь, сознавая, что живу вопреки принципам, заимствованным у Ленина. Ведь это он говорил о борьбе со многими видами привилегий, о необходимости бескорыстного служения

социализму. Единственное, что оправдывает меня в собственных глазах: грандиозность решаемой нами задачи. Ведь мне приходится заботиться о тысячах людей - ничего зорного не будет, если и обо мне тоже позаботятся.

Так успокаиваю я себя, когда после сверх хлопотного дня, издерганный донельзя, возвращаюсь поздно вечером домой, в свою уютную комнату. Но до конца успокоиться не удастся. Задача, действительно, неохватная.

Переселяются целыми семьями: с женами, детьми, стариками. Другие национальные республики, автономные области в СССР созданы там, где люди жили испокон веков. А тут в совершенно новых и климатических, и социально-бытовых условиях приходится создавать новый очаг, новый жизненный уклад. Все предстоит налаживать заново: экономику, быт, культуру. Дело требует дальновидного вдумчивого подхода, всестороннего анализа. Трафаретные решения могут только повредить.

У меня иногда опускаются руки от бессилия. Раз или два я обращался за помощью к Власову, но вскоре понял, что дело это почти бесполезное.

Для него план переселения такой же, как все другие планы: его необходимо железно выполнять. А трудности - они всегда были, есть и будут, к ним нужно быть готовыми и не паниковать понапрасну. Трудно оспаривать такую непробиваемую логику, но еще труднее ее принимать, с ней соглашаться. Когда весь день находишься среди полуголодных, неустроенных, по существу, обманутых людей, действуют совсем другие аргументы.

Для Власова переселение евреев - вопрос большой политики. Весь мир должен знать, что мы успешно воплощаем в жизнь мечту многих поколений людей в разных уголках мира: строим национальную автономную область. Широким гостеприимным жестом страна Советов приг-

лашает на новое поселение не только соотечественников, но и жителей многих других стран. И они едут, группами и в одиночку, из Европы и Америки, обетованной земли Палестины и далекой Австралии. Об этом захлебывается радио, пишут газеты. Власов в центре событий: шлет приглашения, организует встречи, высмеивает колеблющихся.

Очень скоро, впрочем, происходит то, что должно было произойти: обманутые переселенцы начинают разбегаться. Кто уезжает в Хабаровск, кто во Владивосток, кто в Москву. Из столицы летят негодующие телеграммы: правительство атакуют тысячи бывших иностранных граждан, международные организации. Обманутые иностранцы требуют вернуть их обратно, организации грозят санкциями. С каждой новой полученной телеграммой Власов звереет все больше. На меня сыплются обвинения:

- Вы допустили массовое бегство людей. Авторитет области упал... Если не будут немедленно приняты меры...

Мне бы молчать, опустив голову, покаянно слушать и соглашаться. А в меня будто бес вселился:

- Этого следовало ожидать. Дощатые бараки не для детей и стариков. В них и молодые не выживут.

- Почему бы вам часть людей не разместить у местных жителей. По-большевистски нужно действовать, напористо! А вы миндальничаете с ними...

- М-м... Потребуется, так и выселим!.. Вы-то сами что предлагаете?

- Предлагаю прием новых людей ограничить в соответствии с нашими возможностями. Строить капитальное жилье, а не временки. Сколько построим, столько людей пригласить.

- Ну, это нереально. Нам выделены капиталовложения только на промышленность. На бараки еле выкраиваем.

- Но для актива все-таки строятся многоэтажки - не холодные временки. Давайте перебросим часть средств отсюда.

- Они не решат проблемы. А, во-вторых, актив - наш авангард, опора, вы что, хотите развинтить его?

Это была уже, по существу, угроза, но и она меня не остановила. Похоже, я совсем потерял чувство опасности:

- Актив, безусловно, авангард, но лишь в том случае, когда он бескорыстный, а не привилегированный, как у нас.

- Бросьте демагогию! - взвинулся он. - Вы срываете важнейшее политическое мероприятие. Вы просто паникер! - слегка отступил он, очевидно поняв, что перегнул. - Трудности тут, конечно, немалые, но не настолько, чтобы отказаться от наших планов.

- За полгода из двенадцати тысяч переселенцев уехали назад десять тысяч. Это как раз политически нас и компрометирует.

- Трудности есть, - продолжал он, точно не слыша меня, - И мы их преодолеем. Но, наверное, без вас, Баскин.

Тут только я осекся.

...Он больше не кричал, наоборот, миролюбиво протянул мне руку, посоветовал беречь нервы, работать спокойно. Я ушел от него несколько успокоенный, хотя тревога и не исчезла, только как бы затаилась во мне.

И, действительно, через десять дней переселенческим отделом заведовал уже мой заместитель Столяр. Нас с ним поменяли ролями.

Откровенно говоря, я был рад этому. Мне чертовски надоело торчать у Власова на совещаниях, сопровождать его в поездках, Столяр лучше подходит для этой цели.

У него спокойный уравновешенный характер. Он придерживается тех же принципов, что и я, но как-то умеет ладить с разными людьми, свои симпатии и антипатии держит при себе. Наверное, такие, как он, и должны руководить людьми.

Мы с ним отлично сработались. Представительство у Власова, в других инстанциях Столяр взял на себя, я же

всецело отдался делу устройства переселенцев. Хотя решительных перемен по прежнему добиться не удалось, но, может быть, кому-то из них все же довелось чуть-чуть облегчить жизнь. Приходилось удовлетворяться и малым,

Зато вечера и выходные дни я проводил теперь дома, с женой и сыном. Наконец-то я почувствовал, что у меня семья, что я любим и сам люблю тоже. Столяр мне завидовал. У него трое детей, и он их почти не видит.

Так продолжалось без малого два месяца. Я свыкся со своим новым положением и уже полагал, что вступил в непривычную для себя полосу спокойной размеренной жизни. Но вот в середине сентября мне позвонили из приемной обкома и велели явиться к первому секретарю Власову. Я понял, что он не забыл меня. Он принял меня внешне приветливо. Поинтересовался переселенческими делами, покивав сочувственно, неожиданно переменял тему:

- Вы с какого года в партии?

- С 1928.

- Почему у вас не отмечено прохождение кандидатского стажа? Вас сразу приняли членом ВКПб?

- Не приняли, а перевели. С 1924 года я был членом Палестинской подпольной коммунистической партии.

- Вы это можете подтвердить документально?

- Вы сами можете затребовать мои документы. Они находятся в ЦК партии.

- Хорошо, мы так и сделаем. У вас партбилет при себе? Предъявите его.

- Пожалуйста. Он всегда при мне.

- Ваш билет пока останется у нас. Для проверки. Мы получили указание проверить партийные билеты у всех политэмигрантов.

- Могу я ознакомиться с этим указанием?

- Ну, знаете... Вы много хотите.

Я посмотрел в его властное хмурое лицо. Мне показалось, что по нему легкой тенью пробежала усмешка. Какие-либо уговоры, протесты с моей стороны были бессмысленными. Я подумал, что он, возможно, уже решил мою судьбу. Задумал выслать из Союза обратно или что-нибудь в этом роде. После убийства Кирова такое практиковалось. И не только по отношению к политэмигрантам или оппозиционерам, но и просто к подозрительным лицам. Я для него как раз такой подозрительный элемент, человек с сомнительным прошлым. Тем более, осмеливаюсь что-то такое лопотать не слишком почтительное.

- Вы решили отдать меня на съедение ГПУ?

- Не говорите глупостей! - повысил он голос. - Спокойно работайте и ждите результатов проверки. Мы вас вызовем, когда сочтем нужным.

Я вышел от него в прострации. Как поступать, что предпринять - еще не знал, понимал только, что нужно действовать. Утром на следующий день я был в Хабаровске, в крайкоме партии. Но мне не повезло. Лаврентьев, первый секретарь крайкома, оказался в отъезде в Москве. Птуха, второй секретарь - в Благовещенске. Когда вернутся - неизвестно. В отделе кадров сказали, что дело обычное, и нужно терпеливо ждать результатов проверки. Мое волнение, беспокойство казалось им подозрительным. Я больше не мог здесь находиться.

Ноги сами привели меня на вокзал. Я купил билет до Москвы и стал ждать ночного поезда из Владивостока. Написал жене, чтобы не беспокоилась, коротко объяснил ситуацию. Я был уверен, что вернусь с документами.

И только ночью, уже трясясь в вагоне, подумал в ужасе: "Что же я делаю? Куда еду? Безумный!" Но отступить было поздно.

2 МОСКВА, ГОД 1935-Й

Дорога от Хабаровска до Москвы занимала в то время одиннадцать суток. Этот путь я проделывал уже не раз. Но то были поездки в отпуск либо по делам переселенческим, и я всегда устраивался в купе, как в доме отдыха: читал, отсыпался, знакомился с пассажирами. Мы резались в шахматы, в домино, коротали время в вагоне-ресторане, в конечном счете оно пролетало быстро, незаметно. Не успеешь оглянуться, а за окном уже Москва. Белокаменная, с куполами вокзалов, тесная, многолюдная.

На этот раз все было по-другому. Поезд тащился невыносимо, издевательски медленно. Я был подавлен, окружающая жизнь не существовала для меня. Я все время спрашивал себя: неужели одному человеку дозволено по прихоти или капризу лишать другого свободы, любимого дела, будущего? Чистые помыслы и идеалы истолковывать извращенно, грязно, оскорбительно? Исходя из собственных воззрений и "принципов". Какой-то случайный жизненный поворот, стечение обстоятельств, пусть даже и способности, вознесли этих людей на гребень жизни, дали в руки власть и чины. А с ними право творить произвол. Все мое существо противилось произволу и несправедливости.

Трижды за рубежом я сидел в тюрьме. Один раз "за коммунистическую деятельность" был приговорен к смерти, но удалось бежать. Потом я оказался в СССР, где был принят, обласкан, направлен учиться в Институт Мархлевского. И вот, когда поезд подошел к перрону Ярославского вокзала в Москве, и я, больной и разбитый, выполз на Комсомольскую

площадь, прежние тоскливые мысли охватили меня. Куда идти? Зачем я приехал? Кому я нужен в Москве?

Вопросы, эти при всей их безысходности одновременно создавали как бы обманчивую иллюзию множества возможных ответов. На самом деле ответ мог быть только один: конечно же в Комвуз, на Маросейку. Единственное место в Москве, где меня еще, возможно, помнит кто-нибудь, где я могу рассчитывать на какой-то приют. В комвузе, его еврейском секторе, я проучился три года, отсюда был направлен на Дальний Восток. Может быть, кто-нибудь еще на месте из моих наставников? Хорошо бы увидеть Фрумкину, Брахмана, принявших близкое участие в моей судьбе. Туда, конечно, только туда, на Маросейку!

Спускаюсь в метро. Я много слышал и читал о недавно пущенной его первой очереди. Огромный мраморный зал. Все залито электричеством. Свежий кондиционированный воздух. Бесшумно, с интервалами в три минуты, снуют электропоезда. Диковинные эскалаторы. Сказка, да и только!

Для кого построены эти дворцы? Не для избранных, разумеется, а для всего народа. Пользуются ими все, кто желает. Наглядное воплощение коммунистической идеи равенства людей. Подтверждение тому, что страна движется в правильном, ленинском направлении.

Не Власовы с их индивидуализмом и жестокостью, выходит, определяют нашу жизнь, а освобожденный труд, воздвигнувший эти дворцы. Люди свободного труда не могут быть несвободными. Одно исключает другое.

Что? Власовы определяют то и другое? Они маскируются под слуг народа, а сами преследуют другие цели? Карьеристские, диктаторские?

Я устал от этих мыслей. Они продолжают терзать меня. Слава богу, вот и станция "Дзержинская". Поднимаюсь эскалатором к выходу и осматриваюсь. Знакомая площадь.

Направляюсь в сторону Ильинских ворот. Политехнический музей. Здесь я слушал Маяковского, Бухарина. Знакомый уютный бульвар, место вечерних встреч, свиданий. Напротив - здание ЦК партии. Здесь будет решаться моя судьба. Только не сегодня. Займусь своим делом через день-два, когда немного приду в себя.

Вот и Маросейка. Типичная московская улица. Каменные особняки в 2-3 этажа. В одном из них учебный корпус. Поднимаюсь на второй этаж, сворачиваю направо. И - о, радость, в комнате еврейского сектора вижу Брахмана, все того же неутомимого Мойши Брахмана в окружении группы молодых людей! Как всегда, здесь шум, многоязычный гомон.

- Здравствуйте, друзья! - приветствую их громко, и все присутствующие одновременно поворачивают ко мне головы. Шум на мгновение смолкает.

- Иосиф? Какими судьбами? - Брахман в изумлении раздвигает толпу и радостно обнимает меня. Молодежь смотрит на нас с любопытством.

- Приехал по делам. Только что с поезда. Не прогонишь?

- Что ты! Молодец, что пришел. Представляю, как обрадуется Фрумкина. Не был еще у нее? Ты ведь ее любимчик.

- Не успел еще, потом. Скажи, кто-нибудь остался в Москве из наших?

- Есть, и немало. Да хотя бы секретарь парткома Певзнер, он же с вашего курса? Полевой с Волынским заканчивают здесь аспирантуру. Еще Блинов, кажется, в какой-то редакции?.. Ну, Певзнер всех найдет, только позвони ему.

- Отлично. Товарищ Брахман, можете меня пристроить в общежитие на несколько дней?

- Конечно. Сейчас дам записку к коменданту. Живи, сколько хочешь.

- Большое спасибо. Устроюсь, потом пойду к Певзнору.

Комендант (тот самый, что был и пять лет назад, он меня узнал) предоставил мне хорошую светлую комнату в общежитии. Я побрился, почистился с дороги. Настроение поднялось. Человеку немного нужно: встретили приветливо, отнеслись по-человечески - сразу и посвежело в душе. Есть крыша над головой, есть друзья - что еще нужно? Будущее уже не казалось таким беспросветным.

Певзнер встретил меня приветливо. Он стал таким солидным, осанистым, привык, видимо, общаться с "массами". И интересовали его прежде всего вопросы большой политики.

- Ну, как там у вас? Как обстановка?

-хлопот хватает.

- Я не о том. Какова реакция на убийство Кирова? Что говорят в народе?

- Что говорят? Возмущены, конечно.

- Как ведет себя оппозиция?

- Не знаю. У нас нет никакой оппозиции.

- Ты не знаешь. Она есть. Она действует тихой сапой. Нам здесь все время приходится быть начеку. Атакуют слева и справа. С оглядкой, осторожно, но используют любую возможность. Так же и у вас, не сомневайся. Они способны на все. Убийство Мироныча, несомненно, их рук дело!

- Но объясни, почему они выбрали Кирова, а не Сталина?

- Киров - ближайший соратник Сталина. Будь уверен: они подбираются и к самому Сталину. Но партия не допустит этого, мы ответим террором на террор.

- Виновные, кажется, уже найдены?

- К сожалению, не все. Чтобы искоренить зло, нужно ударить не только по исполнителям, но и по вдохновителям, в самое сердце оппозиции. Дай срок, доберемся до всех!

- Я вижу, тебе оппозиция крепко наступила на мозоль.

- Не мне, а партии. Ее враги - мои враги. Я всегда и во всем с партией, был, есть и буду...

Я молчу. Мне, в общем-то, ясен скрытый смысл его декларации. Пять лет сидит в парткоме, в Москве. Зубами впился в свою должность. Демонстрировать беспредельную верность - верный способ удержаться, не слететь с шестка. В переводе на общепонятный язык сие означает: всегда держать нос по ветру, не разойтись в оценках с партией. На такого человека полагаться трудно, откровенничать просто опасно.

- Слушай, Борис, давай сегодня забудем о политике. Я хочу встретиться с ребятами, встряхнуться. Позвони им, завалимся вместе куда-нибудь.

- Согласен! - кивает Певзнер и берется за трубку. Скоро пришли Полевой, Волынской, Котов, Берман, Блинов - почти все, кто остался в Москве из моего выпуска. Объятия, расспросы. Все они здесь, как мне кажется, живут вполне безопасно. А, впрочем, первое впечатление обманчиво: в Москве, в столице, не может быть менее тревожно, чем везде. Вскоре я это замечаю по уклончивым ответам, сдержанности в оценках, умолчаниям. Все расспрашивают меня о Биробиджане - я рассказываю много и подробно. Блинов записывает для газеты. В них, во всяком случае, в некоторых из моих друзей все эти годы боролось искушение последовать моему примеру: тоже отправиться в Биробиджан. Я знаю об этом, и сейчас бессознательно стараюсь подвигнуть их в их робком желании. Стараюсь говорить красиво, расписываю успехи. Это нечестно - ничего не говорить о трудностях, но мне безумно хочется, чтобы мне завидовали, хочется выглядеть в их глазах победителем. Бесчестно, конечно, но я себя успокаиваю тем, что искушение так и останется искушением: мытарства переселенцев моим благоразумным друзьям вряд ли угрожают.

Мы пообедали вместе в нашей комвузовской столовой, потом у меня в комнате немного выпили и отправились в

еврейский театр. Я мечтал попасть на "Короля Лира" с гениальным Михоэлсом в главной роли, но не повезло. Попали мы на старую, когда-то уже виденную мной постановку "200 тысяч". Смутно я помнил это спектакль, скучноватый, кажется, и заранее испытывал досаду и разочарование. Но тут оказался Зускин, легендарный не менее, чем его друг и сподвижник Михоэлс. Несколько репликами он расшевелил, взбудоражил, увлек зал, минут через десять мы уже покатывались со смеху и отбивали себе ладони.

Все в облике артиста - речь, жестикуляция, фигура - дышало радостью жизни. Такая же радость сияла на лицах вокруг меня. Я беспрерывно оглядываюсь — смех, аплодисменты, оживленные возгласы подтверждали мое ощущение, что здесь жизнь на подъеме. А я-то, паникер, решил уже, что чуть ли не мир пошел прахом из-за того, что меня обидели! Нет, мы так просто не сдадимся. Я чувствовал прилив сил и уверенность, что у меня все закончится хорошо.

Назавтра с утра я отправился бродить по Москве. В центре много кранов, огороженных заборами строительных площадок (расширялась улица Горького), появились новые дома, целые улицы новых домов, не говоря уже о станциях метро, которые внесли в организм города что-то принципиально новое, незнакомое раньше.словно в кровеносной его системе появились узелки, средоточия, центры и центрики - станции метро. Вокруг них самые большие скопления людей. Все деловиты, озабочены, прилично одеты, почти не видно бедности, нищеты. В осеннем наряде, с золотыми блесками на желтеющей листве. Ленинские горы, сквер у Большого театра. Чистые Пруды, Покровка. Нет, что ни говори - жизнь прекрасна!

А вечером снова с друзьями в театре, на это раз мы во МХАТе, смотрим "На дне" Горького. До мелочей знакомый,

много раз виденный спектакль. Снова радость, нет, восторг узнавания. Встреча с добрыми старыми друзьями. Велюколены Качалов, Москвин. Спектакль закончился, а расставаться не хотелось. Хотя немного еще продлить этот праздник - мы идем с Волынским и Певзнером в кафе, занимаем столик, смотрим друг на друга... И тут я рассказываю своим друзьям о том, что случилось со мной в Биробиджане. Рассказываю с юмором, самоиронией, совсем не испытывая того терзающего душу негодования, что не давало мне дышать в поезде. Выкладываю все это спокойно, поднимаю голову и... вдруг что-то такое замечаю новое. Перемену какую-то в лицах. Ни тебе юмора, ни сочувствия. Вроде я не им рассказываю. На лицах обоих хмурь и обида. Отчего - не пойму?

Певзнер смотрит куда-то мимо, Волынский сидит с опущенной головой. Оба избегают смотреть мне в глаза. У Певзнера лицо залито краской, губы нервно подрагивают. У Волынского макушка напугана и растеряна, точно над ней нависла чья-то угрожающая рука.

- Что случилось? Чем я вас так напугал, друзья?

- Партийные билеты забирают у активных троцкистов, у врагов. Незамешанных в антипартийной деятельности никто никогда не тронет. Мне вот ничто не грозит, — голос Певзнера медлителен, раздумчиво-тверд. - Раз у тебя забрали партбилет, значит, что-то нечисто, это ясно!

- Тебя, значит, никогда не тронут? Ты в этом абсолютно уверен? А ты? - Я поворачиваюсь к Волынскому. - Тебе тоже все ясно?

- Нет, нет, Иосиф, я не могу с Борисом согласиться. Я уверен, что ты ни в чем не виноват. Но ты поступил опрометчиво. У тебя изъяли партийный билет для проверки, дело, в общем, обычное. А ты, вместо спокойного партийного отношения к случившемуся, взял, да исчез. То есть, стал в глазах своей парторганизации дезертиром, трусом.

- Вот именно! - с готовностью подхватил Певзнер. - В Москву уж безусловно они сообщили. Не сегодня-завтра за тобой придут и этапным порядком препроводят обратно. В какое же положение ты нас поставил? Два дня открыто шлемся с тобой и ничего о тебе не ведаем. Ты поступил подло, обманным путем втянул нас в свою историю...

Я больше не мог такого слушать, поднялся.

- Никуда я вас не втягивал. Сожалею, что так вами это воспринимается. Я приехал к вам с открытой душой. Не думал, что вы такие трусы. Завтра отправляюсь в ЦК и, уверен, все у меня будет в порядке. Вы можете спать спокойно. Но твоего, Борис, подлого поведения я не забуду никогда! Прощайте!

Волынский догнал меня у выхода, двинулся по улице рядом. Вид у него был виноватый, я видел, что он переживает. Но я вышагивал молча. Чего стоит такая дружба? Когда все хорошо, удачно, они рядом, весело улыбаются мне, а стоит произойти несчастью, как обоих сдует, точно ветром. И все же Волынский — не Певзнер. Даже в его трусости есть что-то по-человечески объяснимое. Мне жаль его. Может быть, поэтому я говорю ему вслух то, что мысленно повторяю про себя, как заклинание:

- Я верну свой партбилет! Завтра же отправлюсь в ЦК. Я добьюсь своего, вот увидишь!

- Желаю тебе удачи! - слышу в ответ сдавленный голос, и это жалобное напутствие не кажется мне ни фальшивым, ни неискренним.

На следующий день утром я позвонил в дальневосточное представительство и узнал, что Лаврентьев еще в Москве и живет в гостинице "Метрополь". Как мне поступить? Может быть, действительно, обратиться прямо в ЦК? Но без партбилета меня туда даже не пустят. Еще, чего доброго, задержат, как подозрительную личность. Нет, нужно начинать

с Лаврентьева. И уж если он не поможет, тогда только обращаться в ЦК. Все же я надеялся на Лаврентьева. Как-никак, он мой партийный секретарь, я член его партийной организации. Он - старый большевик еще ленинской закалки. Кто, как не он, должен мне помочь? С этой мыслью я отправился в "Метрополь".

Я назвал администратору фамилию Лаврентьева и, услышав, что тот у себя в номере, попросил соединить меня с ним по телефону. Покосившись на меня, тот несколько помедлил, но все же набрал номер и протянул мне трубку.

- Товарищ Лаврентьев? - в ответном хрипловатом "слушаю" я ощутил одышливое, как мне показалось, недовольное дыхание и невольно заторопился: - С вами говорит член ВКПб из Биробиджана. Секретарь обкома Власов отнял у меня партийный билет, якобы для проверки. Ему показалось подозрительным, что я не проходил кандидатского стажа, а сразу стал членом партии. Я политэмигрант, член Палестинской подпольной коммунистической партии с 1924 года. В 1928 году после очередного ареста был выслан из страны и оказался в СССР. Учился в университете национальных меньшинств имени Мархлевского, в еврейском секторе, комиссией Коминтерна был переведен в ВКПб. Копии моих документов можно запросить, они находятся в ЦК. Что я и предлагал сделать Власову. Но он мне не поверил. Отнял у меня партийный билет, с чем я не могу примириться. Я приехал в Москву, чтобы самому разыскать здесь свои документы. Очень прошу, примите, выслушайте меня. Без партийного билета никто меня в ЦК не пустит...

- Однако, я вижу, вы человек решительный. Паспорт хоть у вас есть?

- Паспорт есть. С фотографией! - Оттого, что меня не оборвали сразу, а выслушали и проявляют какое-то любопытство, я приободрился.

"Фотография" вызвала хмыкающий звук в трубке, вылившись затем в насмешливую фразу:

- Покажите фотографию дежурному и поднимайтесь сюда. Впрочем, передайте ему трубку, я сам ему скажу.

Я передал и услышал из неплотно прижатой к уху трубки:

- Вы свободны, товарищ? Не сочтите за труд, проводите ко мне, пожалуйста, посетителя.

- Будет исполнено.

В сопровождении дежурного я поднялся на третий, а, может, четвертый этаж, затем долго петлял лабиринтом каких-то нешироких гостиничных коридоров мимо совершенно одинаковых дверей, среди которых наверняка бы запутался, если бы не провожатый.

- Проходите! - Дверь одной из комнат на стук мягко отворилась, мохнатая голова хозяина кивнула дежурному: - Благодарю вас! - и внимательно, оценивающе посмотрела на меня: - А вы присаживайтесь, товарищ, рассказывайте, что у вас стряслось...

Пожилой грузный человек в пижаме и мягких войлочных тапочках усадил меня в кресло, сам придвинул себе стул и опустил на него, поджав ноги. У него была крупная голова, жесткая щетка усов, полные губы. Умные проницательные глаза исподволь изучали меня. Оттого, как он подпер ладонью подбородок, основательно приготовившись слушать, я почувствовал к нему и доверие, и расположение. Он ободряюще улыбнулся:

- Значит, в обкоме изъяли у вас партийный билет, и вы приехали искать защиты в Москву?

- Но другого выхода у меня не было. Власов задумал меня исключить из партии. Если я не привезу своих документов, так оно и случится. Я прошу Вас помочь мне.

- Хорошо. Слушаю вас внимательно.

Я рассказал ему все. О трудностях с переселенцами,

последнем конфликте с Власовым, снятии с должности. Лаврентьев расспросил меня о моем прошлом: подпольной работе за границей, высылке в СССР. Об учебе, семье, работе в Биробиджане до приезда туда Власова. Я видел, что его это по-настоящему интересует. Мне казалось, что он верит мне, что, следовательно, он не оставит меня, а постарается помочь. И я не ошибся.

- Так, говорите, ваши документы находятся в ЦК? - Он поднялся в задумчивости и подошел к телефону.

- Да, я точно знаю, что их переправили туда из Коминтерна.

- Сейчас попробуем это выяснить. - Пальцем той же руки, которая держала трубку, он стал накручивать нужный номер. - Приемная ЦК? Здравствуйте! Говорит Лаврентьев, секретарь Далькрайкома. Кто у вас ведает делами перевода в ВКПб из других компартий? Можете переключить меня на него? Спасибо... Здравствуйте, товарищ! У меня сидит бывший член компартии Палестины Баскин. Он уверяет, что документы о переводе его в члены ВКПб в 1928 году находятся у вас. Прошу вас, разыщите их и выдайте ему копии этих документов. Если можно, сегодня же. Для него это очень важно. Сумеете сегодня? Постарайтесь. Я направляю его к вам. Кстати, у него нет с собой партийного билета, только паспорт. Да, знаю лично, не беспокойтесь. Он сейчас выезжает. Благодарю вас, товарищ...

Вот это да! Просто, участливо, человечно. Выслушал, поверил, помог. Настоящий партиец! Интересно, фамилия у него русская, а акцент грузинский. Кто он по национальности?

- Вы сделали для меня огромное дело. Я никогда этого не забуду. Большое спасибо!

- Пустяки! Мой долг - делать все, что в моих силах. Сейчас отправляйтесь в ЦК, пропуск вам подготовят. Будет необходимость - звоните мне сюда, в гостиницу. Домой обратно не спешите, побудьте в Москве еще несколько дней.

Я вернусь в Хабаровск дней через десять. Советую до рассмотрения вашего вопроса не появляться в Биробиджане, ждать меня в Хабаровске. Приеду - вернем вам партбилет.

Я вышел от него окрыленный. В приемной ЦК меня ждал пропуск, а через час с небольшим я уже держал в руках заверенные копии своих документов. Все в полном порядке!

Мир стал другим. Люди, здания, бульвары, памятники - улыбались, приветствовали меня, я снова был для них своим, желанным. Куда пойти? С кем поделиться радостью?

Первое желание - позвонить своим недавним друзьям, испытать торжество собственной правоты, победы. Но нет, с Певзнером я больше встречаться не желаю. А порадую мою дорогую учительницу - Эстер Фрумкину. Вот с кем я с удовольствием повидаюсь! Но не сразу, не будем спешить. Поброжу еще по улицам!

Сворачиваю на Красную площадь. Группа туристов слушает пояснения экскурсовода у входа в мавзолей. Голуби воркуют на брусчатке перед Спасскими воротами. Мужской голос близ исторического музея в рупор приглашал желающих совершить экскурсию по Москве.

За кремлевской стеной, над Домом Правительства, реет красный флаг Союза. Спокойно, величественно. Во всем чувствуется сила, устойчивость, надежность. Так было и пять лет назад, так будет всегда. Здесь истоки, средоточие могущества страны. А страна - это союз больших и малых народов. Все они, дети одной семьи, равно дороги матери Москве. Я тоже чувствую себя ее сыном.

Москва 1935 года насыщена государственными и общественными национальными учреждениями. В том числе и еврейскими. Я с гордостью читаю попадающиеся мне вывески. На Маросейке - еврейский сектор университета национальных меньшинств. На Ильинке, в здании ЦК Партии, тоже есть еврейская секция. Рядом с Поли-

техническим музеем - центральная еврейская библиотека. На улице 25 Октября - Общество еврейского переселения, сокращенно "Озет". Рядом - редакция ежедневной еврейской газеты "Эмес" ("Правда"). Вблизи Манежа в здании ЦК - "Комзет", комитет землеустройства евреев. На площади Пушкина - еврейский клуб. Дальше по бульвару, за Никитскими воротами, еврейский театр.

Ни в одной стране мира нет такого обилия учреждений для национальных меньшинств. Все это - результат ленинской, подлинно интернациональной политики партии, двадцатилетнего труда многих политических, культурных, научных деятелей. Их усилиями расцвела еврейско-советская культура, выросли замечательные писатели, артисты, ученые, такие, как Фефер, Квитко, Михоэлс, Фолкович. Я горжусь их успехами, достижениями. Если нам удастся закрепить переселенцев в области, возможно, многие из этих деятелей переедут к нам, будут жить со своим народом, служить ему. И я очень рад, что Москва устраняет многие мои тревоги, опасения, беспокойства, возникшие там, на месте. Все будет хорошо!

А вот и кабинет моей наставницы. Эстер Фрумкина - старая революционерка, член еврейской секции при ЦК партии, ректор еврейского сектора в университете. Я не видел ее пять лет.

Конечно, она постарела, голова совсем белая. Но это еще красивая женщина - дородная, с живыми черными молодыми глазами. Она - умница, блестящий лектор. Я всегда с восторгом слушал ее лекции по всеобщей истории. Сейчас на лице ее читаю радость:

- Наконец-то, явился, беглец! А я уже подумала, что так и не захочешь повидаться со своей учительницей.

- Я решил, что приду, только когда улажу свое дело.

- Неужели уладил? Вот молодчина! А мне говорили, что

дело твое совсем безнадежное. Всякое говорили мне про тебя, - она бегло пробежала глазами протянутые мной копии документов.

- Что я - трус и дезертир?

- Певзнер вынес вопрос о тебе на партком, предложил печатно отмежеваться, написать в ЦК. Теперь уже не успеет, слава богу. Я очень беспокоилась за тебя. Как удалось это получить?

- Представьте, Лаврентьев, первый секретарь Далькрайкома, посмотрел на дело иначе, чем мои бдительные друзья. А всего-то и потребовалось для этого - выслушать непредвзято. Лаврентьев позвонил в ЦК, и через час у меня на руках были мои документы. Есть, есть еще у нас настоящие коммунисты. Он поверил мне, а не Власову, это что-то да значит!

- Замечательно! Произошло какое-то чудо. Я была уверена, что у тебя ничего не получится. Лаврентьев, конечно, замечательный человек.

- Меня удивляет другое. Он поверил, поддержал меня, а мои старые друзья, всегда уверявшие меня в своей верности, испугались, отшатнулись в трудную минуту. Это наводит на страшную мысль. Нами уже настолько овладел страх, что при желании каждого можно уничтожить поодиночке, без защиты, без малейшего протеста со стороны остальных. Я это почувствовал на себе очень остро.

- Сочувствую тебе, Иосиф. Но не нужно обобщать единичные негативные факты. Я лично не так мрачно настроена.

- Такие, как Певзнер, готовы уже сейчас пожертвовать любым из нас и даже всеми вместе ради своей собственной карьеры. Он сделает все, что от него потребуют: оговорит, предаст. Он уже готов к такой мерзости. Таков не рядовой коммунист, а партийный вожак, секретарь парткома института. Боюсь, что перед нами не единичный факт. Мой секретарь обкома наделен примерно тем же букетом "достоинств".

- В чем-то ты прав. В партии появилось немало карьеристов, бюрократов, лицемеров. Но все-таки я верю, что им противостоит здоровая масса. С Певзнером мы как-нибудь славим. А ты не поддайся диктату своего секретаря, молодец! Правильно, что не даешь себя в обиду. Так и действуй дальше. Когда уезжаешь?

- Через три дня. Билет уже в кармане.

- Спешишь? Наверное, у тебя великолепно идут дела?

- Увы, теперь, наверно, придется сменить работу. Может, и уехать из области. Жаль, конечно. Много сил ей отдано.

- Действительно, жаль. И не очень понятно, почему?

- Потому, что я не герой, по-видимому. Не очень верю в свою победу. У меня плохие предчувствия... Пожалуй, вы правы, мне повезло: произошло скорее чудо, чем закономерность. Другого такого чуда не случится, и мне нужно использовать этот единственный представившийся шанс. Я буду жить тихо, сменю место жительства. В последние месяцы я понял, что счастье приносит не только работа. Семья, обязанности отца, мужа... В общем, предстоит новая жизнь.

- Это очень печально, Иосиф.

- Будет много печальней, если я опять ввяжусь в бучу.

Шли последние дни октября. Небо за окном набухло сыростью, по оконному стеклу то и дело пробегала косая строчка. Будущее тревожило меня, но я твердо знал, что покидаю Москву без сожаления. Мысленно я был там, где осталась моя семья, мой партийный билет, моя работа. Что бы ни ждало меня там, но это был мой дом. И моя мудрая учительница меня понимала.

3 ЛАВРЕНТЬЕВ, БЛЮХЕР И ДРУГИЕ

В Хабаровск я приехал девятого ноября. Шестого, где-то в районе Байкала, пассажиры организовали в вагоне складчину, и мы шумно, весело встретили праздник. Забронировали на всю ночь вагон-ресторан, и под аккомпанемент баяна пели, плясали, опустошали ресторанные запасы.

Моя соседка по купе Леночка, с которой за неделю мы успели обсудить множество проблем и подружиться, после очередной "барыньки" потянула меня за руку в тамбур:

- Ой, не могу здесь больше. Душно!..

Она была разгоряченная, с пылающими щеками, и завитая прядка свисала ей на потный лоб. Леночка ее постоянно сдувала на место, выпатив нежно-розовую влажную нижнюю губку. Губка была у нее необычайно привлекательной, да к тому же Леночка совсем уж по-дружески, доверчиво висела на моей руке. Пылающие щеки и лоб подставлены тамбурной прохладе. Глаза прикрыты, рот чуть приоткрыт, выражение лица блаженное, близко-близко от моих пальцев пульсировала, поднимаясь и опускаясь, ее маленькая грудь.

Начинало светать. Дорога змеилась между гор и Байкалом, горы угадывались по белым снежным шапкам, а Байкал - по синему мраку внизу без признаков жизни.

- Иосиф, - спросила Леночка, - вам не жаль было уезжать из Москвы?

- Что вы, Леночка! Я жду - не дождусь, когда попаду домой. Ведь к семье еду. Москва - это так, эпизод...

- А я каждый год приезжаю к мужу в отпуск. В Москве -

мама, здесь муж. Возвращаюсь от него с радостью. На этот раз совсем было решила остаться у мамы, не ехать. Но в последний момент передумала, "он" пересилил.

- Первый раз встречаю женщину, для которой мать дороже мужа.

- Ну да, вы, мужчины, считаете в порядке вещей, когда оставляете своих жен, а если это собирается сделать женщина, то вы дружно осуждаете ее.

- Мне кажется противоестественным то и другое. Я всегда безумно скучаю по дому, где бы ни находился.

- Вы, наверное, очень любите свою жену?

- Бывает, что и ссоримся. Особенно в первые годы было. Но с тех пор, как появился сын, мне кажется, он связал нас навеки. Разрыв был бы подобен разрезу единого живого организма. Я даже представить себе этого не могу.

- Да, у нас нет детей. Но я знаю очень дружные бездетные семьи. Они скучают, мучаются друг без друга. А я не скучаю по своему. Два месяца отпуска прошли без потрясений.

- Извините, но если дети не связывают, а муж в тягость, тогда, действительно, развод - лучший выход.

- Мой муж не урод, не пьяница, и характер сносный, но мы вечно спорим, раздражаемся. Когда пять лет назад встретились, казалось, любим друг друга. Но длилось это недолго. Вы говорите: развод. Мне кажется, что буду потом жалеть, раскаиваться. Страшно боюсь одиночества. Все еще надеюсь, что жизнь наладится. Может, появится ребенок, он помирит?

- Помирят, помирят. Развод - это крайний выход.

- Вы-то, в самом деле, счастливы?

Наверное, в тот момент я точно выглядел ошалелым-счастливым, раз она меня об этом спрашивала. Но по приезде в Хабаровск, бродя по улицам холмистого, похожего на застывшее море, города, я почти не вспоминал о семье. Жил

в ожидании Лаврентьева. По несколько раз в день звонил в крайком, справляясь о нем. Наконец, услышал, что он прибыл, и я воспрянул духом, наивно полагая, что рассмотрение моего вопроса состоится чуть ли не на следующий день. Увы, заседание бюро крайкома было назначено только на 29 ноября, то есть через две недели. Целых две недели мне предстояло еще неприкаянно мыкаться, прежде чем будет решена моя судьба.

Правда, в Хабаровске жила в то время группа моих знакомых, бывших работников Еврейской автономной области. В крайкоме партии работал Левин, бывший биробиджанский секретарь. Он уехал из Биробиджана с приездом Власова. Скромный, спокойный, выдержанный человек, старый революционер, член еврейской секции при ЦК партии. Вечера я проводил в его обществе, а также двух моих однокурсников Бриля и Фейгина, начинавших вместе со мной, а потом тоже оказавшихся в краевом центре. Они скрашивали мое одиночество. Все в один голос советовали в область не возвращаться, а устраиваться здесь, в Хабаровске. Предлагали свою помощь.

Я отмалчивался. За день до назначенного заседания я встретил на улице второго секретаря обкома Булыгина. Маленький, говорливый, с легко вспыхивающей, какой-то мигающей улыбкой, он обрадованно протянул мне руку:

- Ну, как Москва? Как отметили праздники? - Несмотря на внешнее дружелюбие, в его вопросах чувствовалась напряженность, точно ему требовалось какое-то усилие, чтобы изображать на лице радость. Я знал, что он никогда не перечит Власову, не бывает вполне искренним. В его приветливости мне слышалась какая-то хитрость. Я отвечал односложно:

- Праздники пришлось встречать в поезде. Спешил домой.

- Спешил, а дома не появился. Даже жену с сыном не повидал. Сколько ты уже здесь?

- Две недели.

- Две недели быть рядом с домом, и ни разу там не объявиться? Поразительно!.. Я уж не говорю о том, что в обкоме тебе тоже не чужие.

- Я жду заседания бюро крайкома.

- Зря ты это все. Мы могли бы договориться и без крайкома. Документы привез?

- Да, получил, как и рассчитывал. Помог Лаврентьев.

- Ну, и прекрасно! Предъявил бы их нам, получил свой партбилет, и дело закрыто. Твоя работа тебя ждет.

- Власов тоже так считает?

- Ну, разумеется. Все так считают в обкоме. Между прочим, и сейчас еще не поздно уладить дело: зайдём в крайком к Птухе, верну тебе при нем билет, и с концом! Вечером будешь дома.

- Нет, в область я не вернусь. Вы прекрасно знаете, что Власов не даст мне работать. Пусть крайком решит мою судьбу.

- Напрасно. Ведь все придется начинать сначала. Новые люди, все заново.

- Ничего, как-нибудь освоимся. С вами, может, и работал бы еще. А с Власовым - нет. Не верю ему.

Ясно, что он хотел бы замять дело. Власов поручил ему переговорить со мной. Но соглашаться мне никак нельзя. Наоборот, нужно сделать все, чтобы крайком знал об истинном положении дел в автономной области. Мой личный конфликт с Власовым - только повод для серьезного и принципиального разговора. Мы распрощались с Булыгиным, и я стал готовиться к заседанию.

Наступило 29 ноября. Это день я запомнил надолго. Часа два пришлось ждать в приемной. Время тянулось медленно. Я мысленно повторял про себя свои доводы, аргументы. Наконец, открылась дверь, приглашали меня.

Огромная комната. Масса народа. Выделяются военные с

ромбами и орденами. У стола, в центре, Лаврентьев во френче. Справа от него второй секретарь Птуха, слева - Крутов, председатель крайисполкома. Всех троих я знаю, встречался. С Крутовым совсем недавно провел в поездке по области двое суток, сопровождал его в машине. А вот что за важный военный рядом с Крутовым - никак не могу определить? Широкое энергичное лицо, осанистая фигура, несколько орденов на груди... Как будто вижу его впервые, но лицо странно знакомое. По портретам, что ли? И тут меня осенило: Блюхер, командующий Дальневосточной армией! Ну, конечно, как я мог его не узнать? Он - член бюро крайкома, верно!

Все головы поворачиваются ко мне. Лаврентьев кивает ободряюще.

- Товарищ Власов, - строго начинает он, заглядывая в какую-то бумажку, - допустил неправомерные действия по отношению к члену своей парторганизации. Вызвав на беседу члена партии товарища Баскина, он отнял у него партийный билет на том якобы основании, что тот не проходил кандидатского стажа. На самом деле, коммуниста Баскина перевела в члены ВКПб из зарубежной компартии комиссия Коминтерна. Все это легко можно было выяснить через ЦК. Власов же не стал себя утруждать проверками. Как выяснилось в Москве, у Баскина с документами все в порядке. Напрасно встревожили и чуть не погубили заслуженного коммуниста. Товарищ Булыгин, как вы можете объяснить поведение Власова? Кстати, почему он сам не приехал?

- Он нездоров. Как он мне объяснил, некоторые высказывания Баскина, а также его деятельность по приему переселенцев казались ему подозрительными. Прошлое тоже сомнительное. В области действует оппозиция переселенческому движению, Баскин тоже оказывал противодействие.

- Вы получили указание проверить всех политэмигрантов?
- Нет, не знаю. Первый раз об этом слышу.
- Если у Власова возникли какие-то подозрения, почему он не запросил соответствующий отдел ЦК? Почему проявил произвол - отнял у коммуниста партийный билет? Все это сделано более чем беспардонно - по-хамски. Давайте послушаем пострадавшую сторону. Товарищ Баскин, расскажите, что у вас с Власовым произошло.

- Начну с того, что за два месяца до изъятия у меня партбилета я был снят с должности заведующего переселенческим отделом. Это произошло после того, как в беседе с Власовым я привел факты массового бегства от нас переселенцев. В прошлом году из 12 тысяч прибывших в Еврейскую автономную область 10 тысяч вернулись обратно. Уехало и большинство иностранцев. Это произошло потому, что мы не подготовились к приему людей - не построили для них жилье, столовые, детские сады. Все возложили на самих переселенцев. Просто-напросто скомпрометировали великое дело...

- А что вы, как заведующий переселенческим отделом, ответственный за этот участок работы, предложили обкому? Какой выход из положения?

- Во-первых, переключить часть средств с промышленного строительства на жилье, хотя бы барачное, но добротное, основательное, для длительного проживания. А, во-вторых, ограничить поток переселенцев - приглашать и принимать столько, сколько сможем принять...

- Он предлагал забрать квартиры у актива! - выкрикнул Булыгин.

- Да, предлагал. Все мы живем под крышей, как-то устроены, потерпели бы еще год без благоустроенного жилья. Какой смысл закрепления актива, если так называемый "пассив" - основная рабочая масса - вынуждена покидать

область? Сейчас, будучи в Москве, я узнал, что зарубежные переселенцы атакуют свои консульства с требованием вернуть их домой. В это дело уже вмешалась Мария Ильинична Ульянова. Она заставила Комзет - комитет по еврейскому переселению - выдать людям валюту из своих средств, заняться оформлением обратных виз. Вот до чего дошло!

- Вы паникер, все видите в черных красках! - снова послышался высокий алт Булыгина. - В том, что случилось, немалая доля вашей личной вины. Вы просто оказались неспособным организовать это серьезное дело.

- Если так, то чем объяснить ваше вчерашнее предложение мне вернуть партбилет, минуя крайком, и занять прежнюю должность? Зачем вам никудышные работники?

По оживлению вокруг и улыбкам я понял, что ответил удачно. За столом заперевглядывались. Я видел, что на меня смотрят с интересом.

- Думаю, что вопрос ясен, - поднялся Лаврентьев. - Товарищ Булыгин, партийный билет Баскина у вас?

- Да, вот он.

- Копии других его партийных документов перед нами. Желающие могут убедиться, что с этой стороны у него все в порядке. Мы должны решить вопрос о партийности Баскина, его дальнейшей работе. Какие будут суждения?

Не ручаюсь за дословную передачу последовавших затем высказываний, но смысл их запал мне в память. Ведь это были высказывания обо мне, моей работе, они ставили точку в нашем конфликте с Власовым. От них зависела моя дальнейшая судьба.

Крутов: - Мне пришлось сталкиваться с Баскиным. Толковый, деятельный и преданный делу товарищ. О партийности его не может быть двух мнений. Тем более что с документами все в порядке.

Птуха: - Насчет ущемления актива Баскин погорячился. Но

положение с переселенцами в области тревожное. Власов, видимо, ведет тут неправильную линию.

Каплин (заведующий сельскохозяйственным отделом крайкома): - Нам нужен директор Вединской МТС, прошу направить Баскина на эту должность.

Блюхер: - Поведение Власова неприглядное. Да и Булыгина сегодня не лучше. Нет ни объективности, ни человечности, ни партийной самокритики. Так можно лишиться многих честных коммунистов. А по вопросу переселенцев нужно Власова заслушать на бюро. Дело нешуточное.

Лаврентьев: - Значит, решаем... Партийный билет Баскину возвращаем. Власову указываем на нарушение партийного устава и строго предупреждаем. С переселением дело обстоит из рук вон плохо. Если так пойдет дальше, то еврейское большинство будет не в автономной области, а в Хабаровске, Владивостоке. Они, конечно, нам и здесь не в тягость, но важно, чтобы они осели в Биробиджане. Товарищ Птуха, вам лично необходимо с этим вопросом разобраться, для чего выехать в Биробиджан... Чем быстрее, тем лучше. А для дальнейшей работы направим Баскина в Ведино. Вы, товарищ Баскин, как, согласны?

- Да, - ответил я. - Согласен, куда пошлете. И сделаю все возможное...

- Только без горячки. Работайте спокойно, обдуманно. Если нужна будет помощь, звоните, постараемся помочь. Товарищ Каплин, имейте в виду: беспокойный и смелый товарищ. Даже слишком. Ну, желаю успеха!

- Спасибо. До свидания. - Я вышел и тихо, ликующе прикрыл за собой дверь.

4 ЧЛЕН БЮРО РАЙКОМА

В сельском хозяйстве я не новичок: когда жил за границей, работал на апельсиновых плантациях сезонным рабочим, а по приезде на Дальний Восток до начала переселенческой компании - сначала заведующим райземотделом, а затем председателем райисполкома. Приехав в Ведино и ознакомившись с хозяйством, я сразу понял, что достался мне участок разваленный и запущенный до крайности.

Мой предшественник не был переведен на повышение, его сняли за ужасающую бесхозяйственность и пьянки. Следы его "неутомимости" налицо. В ремонтных мастерских холод, грязь. Ни одной живой души. Полуразобранные, в ошметках засохшей грязи, трактора ржавеют во дворе. Разумеется, под открытым небом, поднавес остался недостроенным. Запасных частей нет, горючего - крохи. Рабочие за три месяца не получили зарплату. В конторе толчется какой-то народ - хмурые, озлобленные лица. Заместитель по политчасти Громов вот уже два дня пытается провести собрание - никто не является. Зима в разгаре, а к ремонту еще не приступали.

Между тем, район считается передовым. Выполняет и перевыполняет планы. Об этом с гордостью говорит мне при первом знакомстве секретарь райкома Пронин. Однако при более близком знакомстве колхозы оставляют не менее удручающее впечатление, чем МТС. В пяти хозяйствах на трудодень люди не получили ничего, в остальных - граммы и гроши. Кто может, убегает в город. Сена заготовлено мало.

Солома осталась незастогованной. На фермах не вывозится навоз, грязь ужасающая. Скот тощий, непродуктивный, нет постоянных доярок. С трактористами, как я уже сказал, не рассчитались.

Этот вопрос был главной целью моей первой поездки по колхозам. В каждом я первым делом договаривался с председателем о выплате трактористам долгов и не отступал потом, пока не рассчитывались с ними сполна. Без такой выплаты не могло быть и речи о начале ремонтных работ.

В хозяйствах я не в силах что-либо изменить. Их "вечные" проблемы долго еще останутся нерешенными. Я успокаиваю себя тем, что для этого есть райком, райисполком, мое дело - МТС. Пронину докладываю редко и никогда не жалуюсь. Понимаю, что он знает о положении дел не хуже меня, а кончится может тем же, что и с Власовым.

Я должен навести порядок у себя, если я не нытик и не паникер, как уверяет Власов. Не дело только критиковать, нужно действовать.

И я взялся за дело. Бесперывно колесил в Хабаровск - в крайком, райзо, банк, нефтебазу. Требовал, просил, умолял, кричал, грозил, и мало-помалу получил кредиты, запчасти, горючее, выплатил рабочим зарплату, утеплил мастерские, закончил строительство навесов, открыл столовую. Подобрал шоферов для грузовых машин, открыл собственные курсы трактористов. Постепенно ремонт техники стал на маломальски плановую основу. Это давалось с величайшим напряжением, требовало отдачи всех сил с утра до позднего вечера. Только через два месяца, в начале февраля, я сумел вырваться на два дня в Биробиджан, чтобы перевезти оттуда жену и сына.

Выгрузил их с вещами в пустой большой дом, который занимал прежний директор, и снова - за работу. Через несколько дней жена Таня, которую еще мало кто здесь знал,

рассказала мне, что услышала в очереди за хлебом такие отзывы о новом директоре:

- Вот жид! Свалился к нам, как и прежний, сверху, а ведь сумел-таки навести порядок. Гляди-ка: трактора под навесом, чистые, отремонтированные, как новенькие. Зарплату выплатил до копейки. Кормят в столовой сытно и дешево, и в мастерской тепло, сухо. Кто бы мог поверить, что за два месяца можно такое перевероршить!

Даже оскорбительное "жид", вызывавшее во мне обычно немедленное желание дать отпор, прозвучало в данном контексте почти нежно, и я испытал нечто вроде гордости, дополнительного прилива сил. Постепенно и дома жизнь наладилась. Сделали небольшой ремонт, утеплились. Жена Таня устроилась агрономом в райзо, стала тоже, как и я, мотаться по колхозам. За сыном ухаживала домработница Аня, которую мы перевезли с собой из Биробиджана.

В общем, жизнь складывалась неплохо. Я совершенно забыл о Власове, о недавних переживаниях. Вопросы большой политики почти перестали меня волновать, я жил своей работой.

К весне МТС подошла в хорошей готовности. Перед выходом в поле вся техника была распределена по колхозам, тракторным бригадам. Колхозов было семнадцать, в том числе три корейских. Столько же числилось тракторных бригад.

Политико-массовую работу в бригадах, связь с райкомом, с колхозными парторганизациями осуществлял Громов, мой замполит, молодой, только что окончивший в Хабаровске совпартшколу. Дело свое он знал и делал неплохо, я же с утра и до вечера ездил по полям, от трактора к трактору, из колхоза в колхоз. Нужно было обеспечить бригады горючим, запчастями, текущей технической помощью, питанием.

Опять было много неполадок, конфликтов, непред-

виденных осложнений. Практически неразлучны со мной были агроном Георгий Дымов и механик Пантелеймон Степанов, оба молодые, инициативные, хорошие специалисты. Когда мы приезжали в очередной колхоз, каждый занимался своим делом: Дымов проверял качество семян, замерял глубину пахоты, беседовал с колхозниками, Степанов пропадал у техников. Я же в колхозной конторе встречался с председателями, осаждал телефон, пытаюсь обеспечить главное: чтобы трактора бесперебойно пахали, сеяли, культивировали. Работа отнимала все время, но выпадали и минуты отдыха. Мы останавливались где-нибудь у водоема, купались, начинали замечать вокруг многообразную дальневосточную природу и окунались в нее. За речкой или озером темнел густой, обычно труднопроходимый лес: черемушник или орешник, за лесом синели сопки, еще дальше - горы. Я успел полюбить эту природу, особенно осенью, когда прекращаются дожди и устанавливается сухая теплая благодать, на полях зреет урожай, в тайге полно ореха, дикого винограда и хочется благодарить судьбу за то, что забросила тебя именно сюда.

У меня сложились прекрасные отношения с председателями колхозов Ведийской зоны, с ними я чувствовал себя на равных. Были среди них старые партизаны, коммунисты, были и просто хозяйственные мужики. Я не помню случая проявления антисемитизма по отношению ко мне, чванства или высокомерия, Все - прекрасные отзывчивые люди.

Нормальные отношения сложились и с районными руководителями: Лукониным, председателем райисполкома, Пименовым, заведующим райзо, а с Коробиным, главным агрономом - даже дружеские.

Луконин - бывший рабфаковец, экономист по профессии, спокойный уравновешенный человек, широкоплечий,

красивый, с энергичным загорелым лицом, густой копной волос на всегда непокрытой голове. Он привлекал обстоятельностью, убедительностью доводов. Даже когда отказывал, то почти всегда оппоненты его внутренне с ним соглашались. Я часто советовался с ним, он вызывал доверие.

Пименов, в недавнем прошлом председатель колхоза, выделялся большим практическим опытом, критическим отношением к разросшемуся бюрократическому аппарату, что отвечало и моим умонастроениям. Мне особенно понравилась его смелость, открытые высказывания не только один на один, но и на больших ответственных совещаниях.

Коробин, тимиразевец, образованный эрудированный агроном, интересовавшийся историей, много расспрашивал меня о жизни за границей, о прежней моей учебе и работе. Я видел неподдельную заинтересованность в его глазах, когда рассказывал ему о делах в МТС. Он близко к сердцу принимал мои старания улучшить условия труда и жизни рабочих, высказывал отвращение к искусственному разжиганию подозрительности, поиску надуманных врагов. Все, что происходило в стране, остро интересовало его, как и меня, на этой почве мы стали дружить домами, ходили друг к другу в гости. Несколько раз с женами ездили в Хабаровск в театр, за покупками, а когда бывали там одни, старались выполнить заказы друг друга.

Нормальные отношения сложились у меня и с секретарем Ведицкого райкома Прониным, в прошлом армейским политработником, хотя в глубине души я с опаской и недоверием выслушивал его постоянные напоминания о саботаже, вредительстве, бдительности, врагах народа. Ему везде чудились подстрекатели, кулаки, подкулачники, он восторгался Сталиным, его линией укрепления государства, а Бухарина считал врагом. Государство - это главное, все для государства. Потребности колхозников у него были на

последнем плане, без колебаний он готов был выскрести из колхозных амбаров все до последнего грамма.

Вокруг Пронина вилась всякая чиновничья сошка: инструкторы, заотделы, прокурор, судья, милиция, многие исполкомовские работники. Может быть, их, действительно, объединяли общие взгляды, а, может, что-то другое, но внешне они слыли самыми правоверными людьми, выступали все в одном ключе. И все же Пронин - не Власов, он намного проще, доступней, иногда в нем проскальзывало что-то обыкновенно-человеческое, не убитое еще властью. Как ни хотелось в такие минуты по-человечески же поспорить с ним, я никогда не забывал уроков Власова: слова критики, несогласия задавливал внутри себя, не высказывал ему вслух.

Продолжались незаконные аресты, исключения из партии, из колхозов. Обнаружились очередные вражеские очаги. Я молчал, тихо делал свое дело.

Иногда звонил Каплин из крайкома, интересовался состоянием дел. По моей просьбе обращался в Госбанк, нефтебазу, помогал, чем мог. Однажды он приехал с Птухой, вторым секретарем крайкома, вместе со мной они объехали хозяйство. Птуха остался доволен. Он передал мне привет от Лаврентьева, сказал, что первый секретарь интересуется мною, часто спрашивает, как мои дела? Я попросил передать Лаврентьеву, что никогда не забуду того, что он для меня сделал. Внимание Лаврентьева взволновало меня, можно сказать, окрылило.

Все планы 36-го года мы перевыполнили. Сева, уборки, тракторных работ. Сдачи государству зерна, овощей, заготовки сена. Урожайности, строительства. Застоговали всю солому, с чем раньше никогда не справлялись, подняли зяблевую пахоту. К зиме развернули новое строительство: заложили еще одну мастерскую, здание конторы, несколько жилых домов для механизаторов. В колхозах прошли отчетно-

перевыборные собрания. Почти на всех я присутствовал. Особенно памятные собрания в корейских колхозах. Корейцы - прекрасные овощеводы, мастера выращивания сои, риса. Год получился удачный, много вышло на трудовень. В том числе и деньгами. После собрания за большим длинным столом пели, закусывали. Я сидел рядом с председателем Цоем, и он учил меня управляться с рисом маленькими деревянными палочками.

1936 год - вершина, лебединая песня моей жизни. Все задуманное получалось, намеченное выполнялось. На душе спокойно, уверенно. Будущее ясно, настоящее светло и радостно.

В конце года меня избрали членом бюро райкома партии. Это еще больше прибавило мне уверенности, так как, без сомнения, означало признание моего вклада в успехи района. Но, с другой стороны, я был вновь поставлен перед неразрешимыми вопросами, которых, казалось, благополучно избежал. Как член бюро, я вынужден был ежедневно теперь сталкиваться с Прониным, с другими членами бюро, участвовать в заседаниях. Отмалчиваться, как раньше, не удавалось.

На одном из заседаний рассматривался колхоз, не выполнивший обязательств по хлебосдаче. Все знали, что он отдал практически все, что убрал. Остался только семенной фонд да триста граммов на трудовень колхозникам. Одним словом: колхоз - неудачник. Многие колхозы перевыполнили свои планы, а этот нет. Но район в целом выполнил обязательства. Об этом я сказал в своем выступлении, а Луконин и Пименов меня поддержали. Но Пронин жестко, безапелляционно заявил, что район всегда перевыполняет план, район - это район, а колхоз - это колхоз. Каждый должен отвечать за свое. Его тут же поддержало большинство.

В другой раз разбиралось дело председателя колхоза. Кто-

то донес, что он содействовал укрывательству бежавшего из ссылки раскулаченного. Тот будто бы состоял с ним в родстве. Я не знал ни того, ни другого, слушал молча, но Луконин хорошо знал обоих, знал всю подоплеку этого дела. Когда Пронин предложил снять председателя и исключить его из партии, он выразил сомнение. Нельзя на основании голого доноса, без надлежащей проверки, губить честного человека, коммуниста. Но Пронин резко перебил его, заявив, что людям, потворствующим врагам народа, нет места в партии. Так и записали в решении.

Еще как-то стоял вопрос о молодом инструкторе райкома партии. Он встречался с одной девушкой, соблазнил ее, а когда она забеременела, попросту отказался от нее. На этот раз Пронин сделал все, чтобы замять дело.

Все это сопровождалось неистовой пропагандой борьбы с врагами народа, призывами к бдительности, беспощадности. Пронин требовал, грозил, наступал. Его активно поддерживал актив, многие члены бюро. Мне все труднее, невозможнее становилось участвовать в заседаниях. Приближалась весна, и это меня выручило. Я опять окунулся с головой в работу.

Но полностью отгородиться от того, чем болела вся страна, не удавалось. Шли процессы за процессами, о них трубили газеты, кричало радио. До меня эта лавина тоже докатывалась, но я убеждал себя: идет политическая схватка, арестовывают активных участников оппозиции, противников сталинского направления. Людей, прямо не замешанных в схватке, не трогают, они могут спокойно продолжать работать. Наивный человек!

Однажды утром радио принесло весть об аресте Лаврентьева, Птухи, Крутова, многих других известных мне работников крайкома. Весть эта потрясла меня. Я вдруг словно пробудился, понял, что пощады не будет никому,

спокойно продолжать работать не удастся. Благополучие и безопасность отнюдь не гарантированы. О многих арестах я слышал, но то, что такое может произойти с Лаврентьевым, не укладывалось в сознании. Было горько и обидно, что замечательный коммунист и руководитель сидит в тюрьме. Он неотступно стоял перед моими глазами, умный добрый человек с внимательным и не совсем русским лицом.

А Пронин в этот день собрал нас, членов бюро, и потребовал немедленно разъехаться по колхозам, организовать митинги поддержки. К счастью, меня он освободил от этого в связи с начинающимися полевыми работами. Мрачный, подавленный, ездил я по бригадам. Но события вновь и вновь возвращали меня к происходящему.

Вдруг в связи с активизацией агрессивных действий японо-манчжурских войск был получен приказ о высылке всех корейцев в Казахстан. Возглавила эту акцию районная партийная организация, конкретно - бюро райкома. Вопрос предварительно обсуждался на бюро, решено было дело обставить по возможности гуманно: корейцам разрешили увезти личное имущество, приняли у них скот с правом возврата его на новом месте, выдали справки-гарантии об этом. Эшелоны отправились под красными знаменами, под главенством корейцев-коммунистов. Но суть дела от этого не менялась.

На меня эта акция произвела удручающее впечатление: подняли сто тысяч тружеников с родных насиженных мест только потому, что кто-нибудь из них может оказаться потенциальным шпионом или диверсантом. Не только беспартийным, но и коммунистам как бы говорили: мы вам не верим, вы - потенциальные участники пятой колонны. Но, в общем, там, в казахстанской ссылке, можете оставаться членами партии. Такая вот фарисейская издевательская постановка вопроса.

И все три наших корейских совхоза в полном составе, во главе с председателями-коммунистами погрузились в товарные вагоны и отбыли - лучшие наши рисоводы и овощеводы.

Эти и последующие события затмили для меня даже такое радостное событие, как рождение второго сына. Я Изика, кажется, даже не рассмотрел тогда как следует.

В августе 1937 года на одном из заседаний бюро Пронин неожиданно огласил полученное им заявление из Биробиджана о том, что я тесно связан с врагом народа Лаврентьевым, и верить мне ни в коем случае нельзя, что я подозрительный эмигрант и так далее. Пронин при этом добавил, что, поскольку заявление подписано секретарем обкома, мы должны немедленно разобраться и принять решение.

Попытался возразить Луконин. Нельзя отдавать Моисеича на съедение его личному врагу Власову, сказал он. Наша парторганизация достаточно хорошо знает Баскина, верит ему. Он проявил себя, как настоящий коммунист. Но Луконина сразу перебил районный прокурор Грибов. К делу нужно подойти принципиально. Это не личный вопрос. Вспомним, сколько раз противодействовал он нашим решениям. Он не наш человек. Действительно, подозрительный. Предлагаю исключить его из партии.

Больше никто не выступал. Проголосовали. Луконин и Пименов воздержались, остальные подняли руки вслед за Прониним. Тут же у меня забрали партбилет и решили просить крайисполком освободить меня от работы и прислать нового директора.

Я вышел потрясенный, оглушенный. Шел быстро, почти бежал домой с открытой головой, ничего кругом не видя. Кажется, сам с собой разговаривал, потому что встречные останавливались и смотрели на меня с удивлением.

В МТС уже все знали. Громов куда-то уехал, возможно, намеренно, чтобы избежать встречи со мной. Рабочие боязливо молчали, отворачивались. Дымов и Степанов что-то докладывали о делах, но смотрели на меня, как на обреченного. Я попросил Дымова замещать меня два-три дня, сослался на нездоровье. И, в самом деле, два дня валялся дома разбитый, опустошенный, то с головной, то с сердечной болью. Но в МТС нужно было возвращаться. Ведь уборка в разгаре и никто еще не снял с меня ответственности. И вообще нельзя целый день валяться, терзаться, так можно с ума сойти. Возможно, на работе будет легче.

Десять дней, с утра до ночи, я пропадал в бригадах. Ждал приезда нового директора, ареста. Поскольку ни того, ни другого не происходило, сел писать заявление в крайком. Писал всю ночь, а на рассвете отправился в Хабаровск. И тут узнал ошеломляющую новость. Оказалось, что накануне арестовали все биробиджанское руководство во главе с Булыгиным. Власов успел уехать в Москву. В тот же день хабаровский крайком восстановил меня в партии и предложил вернуться на выбор либо в Ведийскую МТС, либо в Биробиджан.

Конечно, нужно было вернуться в МТС. Там Луконин и Пименов, Дымов и Степанов, там народ ко мне хорошо относится, и жена себя чувствует прекрасно. И с Прониным я бы как-нибудь наладил нормальные отношения, ведь он знал, что я сделал для МТС и района, не мог не ценить меня. Все говорило за то, чтобы мне вернуться и спокойно продолжать там работать.

Но когда я узнал, что в Биробиджан едут Левин и Либербергер, первый - секретарем обкома, а второй председателем исполкома, и оба наперебой приглашают меня с собой, меня со страшной силой потянуло туда. Я сопротивлялся, говоря им и себе: нельзя мне ни в коем случае.

Незачем мне лезть в пекло, я там наверняка погибну. Только

сумасшедший может на это решиться в такое опасное время. Но другой, надрывный и упрямый голос, кричал мне в ответ, что опасность велика везде, а коммунисту не подобает трусить, прятаться от событий. Как же не использовать редкий, может быть, единственный шанс вместе с проверенными товарищами, честными коммунистами, наконец, осуществить то, о чем мечтал долгие годы? Развернуть по настоящему собственную программу переселения, трудоустройства, обретения счастливой жизни измученного народа. Какое благородное дело - построить в тайге, на целине переселенческие хозяйства, возродить национальную культуру, показать евреям, разбросанным по всему миру, как решают национальный вопрос коммунисты!

И я дал согласие на Биробиджан.

Только после переезда сюда мне открылось, до чего велик был разгром в области. Арестованными оказались не только Булыгин и другие работники обкома: Морозов, Гордон, но и, например, Либерман, бывший председатель облисполкома. В Москве он был директором института еврейской культуры, человек обширных познаний и высокой эрудиции. Вместе с ним взяли Рыбина, директора только что созданного педагогического техникума, Бореха, заведующего лекторской группой, все культурные силы области.

Арестован был и Столяр, мой преемник в Переселенческом отделе, и жена его, и Бриль, мой однокурсник по комвузу, старый комсомольский вожак. Трое детей Столяра отправлены в детский дом. Многих известных мне людей не стало. А другие ждали ареста. Никто не был уверен в завтрашнем дне. И хотя внешне будничная жизнь текла, как обычно, окружающие делали вид, что спокойны, но на самом деле были встревожены, потрясены.

Старые товарищи (кто остался), встретили меня с радостью, но и, наверное, с недоумением. Что за глупый энтузиаст, читал я во многих глазах, пожелавший вернуться

в столь тревожное и опасное время? Глупец - другого не скажешь!

И все же с приездом Левина в Либербергера какие-то надежды возродилась. Доклад Левина на партактиве, его сообщение о ближайших планах строительства, приеме новых людей, взаимоувязке этих вопросов - произнесенные спокойным уверенным тоном, внесли какое-то успокоение, оживление среда актива. Многим, наверное, казалось, что с его возвращением уходит в прошлое период арестов и страхов. Люди верили в то, во что хотели верить.

Наступила пора деятельной подготовки к приему весной 1938 года новых переселенцев. На сей раз многое делалось более продуманно, основательно. Левин вновь восстановил простые товарищеские отношения, это нас радовало. Радовало, что строится много жилых домов, что местный еврейский театр стал популярным культурным центром, что издается ежедневная газета на еврейском и русском языках, появились национальные кадры учителей - выпускники местного педучилища. Хорошо, что область снова возглавляет спокойный принципиальный Левин. Если дадут хотя бы 2-3 года спокойно поработать, то мы сделаем немало. А, может, там, наверху, уже спохватились, поняли, что хватили через край? Может, вообще конец этому кошмару?

Но нет, поработать нам дали всего три месяца. В начале января арестовали Левина. К нам приехал новый секретарь обкома, русский. Через десять дней меня сняли с работы. Правда, из партии не исключили, назначили врио заведующего райзо. Но внутри у меня все рухнуло: планы, надежды, вера в себя. Я уже не способен был, как два года назад, сопротивляться, что-то предпринимать. К кому обращаться за помощью, как действовать? Все, кто мог бы помочь, посочувствовать, сидят в тюрьме.

Вскоре я узнал, что в Москве арестован Дименштейн, руководитель еврейской секции при ЦК партии. Арестованы

руководители Комзета, Озета, главный редактор еврейской газеты Литваков, арестованы мои педагоги: Фрумкина, Брахман, многие друзья.

Комитет по еврейскому переселению закрыли. Все, что питало, заботилось о нас в Москве, думало об автономной области, капиталовложениях, культуре - все уничтожено.

5 АГЕНТ ИНОСТРАННОЙ ДЕРЖАВЫ

В начале апреля по решению обкома партии я выехал в колхозы Бирского куста. Шла посевная, и в течение двух недель я кочевал из колхоза в колхоз, останавливаясь в каждом из них на два-три дня, чтобы оценить обстановку и помочь, чем могу. С утра до вечера в поле, конторах, амбарах с посевным материалом, в ругани, беготне, бесконечных переговорах с районом, областью, ближайшими МТС. А поздним вечером я долго и упорно вызывал город, с волнением всякий раз ожидая и не узнавая искусственно-бодрый успокаивающий голос жены:

- У нас все в порядке! Дети здоровы. Ты как?
- Вроде ничего. Но ты читала о приговоре военного трибунала?
- Да, это страшно. Но надо держаться. Ты сюда не торопись, работай спокойно.
- Что-нибудь случилось? Не скрывай...
- Вчера забрали Брагина, Николева и Зайда.
- Зайда? Аргентинца?
- Да. Его жена Дора ночевала у меня, с ней была истерика.
- Мной никто не интересовался?
- Никто не звонил. А сама я никуда не хожу, боюсь оставить детей одних.

- Правильно делаешь...

Мы еще говорим несколько минут, затем прощаемся, и я долго в волнении хожу взад-вперед по конторскому помещению. Несколько дней назад все краевые и областные газеты опубликовали приговор военного трибунала. К

расстрелу приговорены руководители, члены бюро обкома двух последних составов. Приговор приведен к исполнению, расстреляны Левин, Либербергер, Морозов, Бриль. Расстрелян мой бывший заместитель, а потом начальник Столяр, идеолог Борех, другие знакомые. А аресты продолжают. Теперь вот еще Зайд, Брагин - не просто знакомые, но близкие мне люди. Только меня почему-то не трогают. Почему? Неужели те, в самом деле, как-то замешаны? Не может быть! Знаю их всех. Они не виновны. Подберутся и ко мне, недолго осталось ждать. Но что делать? Ждать? Это страшно.

На следующий день все повторяется. День в бегах, в кратковременном отвлечении от навязчивых мыслей, а вечером набрасываюсь на телефон, снова с тревогой вслушиваюсь в голос жены, пытаюсь успокоить, оспорить сам себя. Так прошла неделя.

14 апреля мне пришлось присутствовать на заседании правления колхоза имени Аникеева, которое затянулось до поздней ночи. Я был расстроен тем, что разговор с женой не состоялся, и провел тревожную бессонную ночь. Лежал в темноте с открытыми глазами и ждал рассвета. Кроме тревоги от отсутствия вестей из города, меня тревожила также тишина. Трактор Журавлева, который должен был пахать с рассветом, безмолвствовал, хотя за окном уже начало синеть. Я поднялся и вышел во двор. Закурил, прислушался. Из дворов начали выгонять на улицу коров и овец, пастух зашелкал бичом, послышались другие звуки, но трактор Журавлева молчал, это было ясно. Что-нибудь случилось, или проспал тракторист?

Знакомая тропа привела меня к реке - шумной стремительной Бире. Вдоль высокого берега тянулись колхозные поля, засеянные и не засеянные, кое-где уже появились и всходы. Дружно зеленела озимь. Вдали я увидел трактор, под ним кто-то копошился. Я поздоровался с Журавлевым - это

был он - присел на корточки, чтобы узнать, в чем дело. Он, разумеется, не проспал, а пришел затемно, хотел до завтрака вспахать два-три гектара, но вот - не может завести двигатель. Через несколько минут он выбрался из-под трактора, закурил и объявил, что нужно несколько деталей, без запчастей ему не справиться с ремонтом.

Я взял у него список необходимого и направился обратно, в правление. По телефону я вызвал директора Биробиджанской МТС Фельдмана, перечислил недостающие детали и просил выслать с ними механика. Он обещал все сделать быстро. Едва я положил трубку, как телефон, точно вспомнив о чем-то, сам залился звонком.

- Вы мне и нужны! - услышал я голос инструктора обкома Ильина. - Иван Афанасьевич, второй секретарь обкома, срочно просит вас приехать. У него к вам неотложное дело.

Я обрадовался. Наверное, удастся побывать дома, переночевать в семье, обнять жену и сыновей. Я даже не успел попрощаться с председателем колхоза, и оправдание себе, уже стоя и голосуя на тракте, находил разве что в том, что завтра вернусь сюда обратно. Дорога была разбита, вся в ухабах, но это не портило мне настроения. Я все время помнил: сегодня встречусь с товарищами, увижу Таню с детьми. Остановились на площади у здания обкома. На случай, если мне придется сегодня же возвращаться, условился с шофером о месте встречи - он собирался к ночи вернуться.

Иду коридорами обкома, заглядываю в кабинеты - везде новые, видимо, недавно назначенные, незнакомые люди, почти все русские. Из знакомых встретил только Соню Лерман, инструктора сельхозотдела. Она в отделе одна. Захожу и плотно прикрываю за собой дверь. Говорим почти шепотом. - Что нового? Где люди?

- Ой, не спрашивай, Иосиф! Почти всех взяли. Мы с тобой, видимо, последние из могикан. Где ты пропадал?

- На посевной, в колхозах. Не знаешь, что за дело ко мне у Смирнова? Он меня вызывает к себе.

- Понятия не имею. Я сейчас вообще мало информирована. Кругом новые люди, мне, наверное, не доверяют. Я боюсь, я, наверное, на подозрении?

- Соня, ты что-нибудь слышала о тех, кто в тюрьме? О процессе Левина, Либербергера?

- Никто толком ничего не знает. Слышала, что их держали в товарных вагонах на станции. Говорили, что тюрьма переполнена.

- А где их судили?

- Этого я не знаю. Можно предположить - по приговору - что оба состава обкомов судили вместе.

- Странно. Всем известно, что между ними мало общего.

- Ты наивный человек. Ничего странного. Сварили из обоих одну кашу - от всех разом и избавились.

- Но смысл?!

Я иду дальше. Ни одного знакомого лица. Вот и приемная второго секретаря. Он тоже малознакомый мне человек, недавно прислан к нам из Хабаровска. Знаю, что фамилия его - Смирнов, звать Иван Афанасьевич, но видел только раз, и то мельком. Сейчас смотрю на его короткую стрижку, на ускользающий, бегло-невнимательный взгляд. Впрочем, встречает он меня вполне вежливо, негрубо. Скорее приветливо. Расспрашивает о себе, интересуется мнением об отдельных председателях, состоянии озимых.

Смирнов не один, с ним кто-то из помощников, молодой, мне незнакомый. Но на меня этот юноша смотрит с любопытством, точно наслышан обо мне. Во всяком случае, моя фамилия для него не пустой звук. На мой вопрос о причине вызова оба переглядываются, и Смирнов кивает утвердительно: - Совещание начнется после обеда, вы там будете нужны.

Вдруг помощник круто меняет тему разговора: - Вы хорошо знаете Брагина? Ныне арестованного? - В голосе его слышатся новые, властные и требовательные нотки. Я вопросительно смотрю на него - это что, допрос?

- Звонил сюда Суворов из ГПУ. Ему нужны некоторые данные об арестованном. Просил, если вы приедете, чтобы зашли к нему.

- Странно, зачем я ему понадобился? Все данные о коммунистах имеются в обкоме.

- Ну, не знаю. Вы вместе работали. Что-нибудь, наверное, требуется прояснить? - он пожал плечами.

И я направился в ГПУ. В глубине души я сознавал, что движусь напрямик в пасть крокодилу. Но я отгонял от себя это чувство. Я убеждал себя: если бы меня хотели арестовать, давно могли бы это сделать раньше. Приехать, например, в колхоз и увезти в "воронке". Но не приехали же! Что? В колхозе неудобно арестовывать? А использовать обком партии для этой цели удобнее?

Нет, Суворов, безусловно, вызывает по делу. Если же и не так, то что реально я могу предпринять? Исчезнуть? Сорваться с места и скрыться? Куда? Лаврентьева нет. Левина нет. Каплин тоже расстрелян. Все, кто могли бы меня поддержать, исчезли с лица земли. Деться мне некуда. Роль беглеца не для меня. И потом: я коммунист, не могу быть трусом. Пусть свершится судьба!

Внешне я, кажется, не выдавал своей тревоги. Радостно приветствовал знакомых. Увидел знакомого шофера из Валдгейма, поднял руку, договорился на завтра ехать с ним, если заночую в городе. Купил папирос, остановился у стройки нового здания кинотеатра, покурил неспеша. И решительно шагнул к зданию ГПУ.

Массивное капитальное здание, одно из немногих в городе с оштукатуренным фасадом, с портиком и круглыми

поддерживающими колоннами, обрамляющими вход. Массивные ворота, обитые железом, глухая ограда, опоясанная поверху несколькими рядами колючей проволоки. Эти ворота проглотили уже не один десяток моих товарищей. Неужели теперь моя очередь?

Я затоптал окурки и открыл входную дверь. В коридоре за окошком дежурного сидел старшина. Я назвал себя, спросил Суворова. Старшина поднялся, вежливо пригласил войти в комнату. Подал стул, попросил подождать и удалился.

Я успел прочесть от корки до корки лежащую на столе газету, с беспокойством оглядываясь на каждый шорох. Было тихо. Окно с железной решеткой навевало страх. Со стены строго смотрел Сталин. Нет, нет, Суворов встретит меня так же приветливо, как старшина. Долой страхи! Суворова я никогда не видел, знал только, что он приехал сюда недавно и теперь управляет работой областного ГПУ. Я настолько осмелел, что поднялся с места и прошел взад-вперед по комнате. Услышав приближающиеся шаги, торопливо снова сел на место.

В комнату вошли двое: уже знакомый мне старшина и с ним молоденький лейтенант. Они приблизились ко мне, и старшина хрипло крикнул:

- Встать!

Голос, лицо, фигура - мгновенно переменились. Он весь дышал ненавистью и властью.

Я не торопился выполнять его команду. Протестующе поднимая голову:

- Как это понять?

Вместо ответа он схватил меня за грудки, тряхнул, бросил к стене:

- Молчать!

Я не успел опомниться, как он меня обыскал, ощупал, извлек паспорт, партбилет, деньги, даже папиросы отобрал.

Лейтенант, молча взиравший на все это, подошел и объявил прокурорским голосом:

- Вы арестованы как враг народа!

- По какому праву? - возмутился я, - За что? Предъявите ордер на арест!

- Все будет предъявлено в свое время.- Старшина для убедительности поднес к моим глазам бугристый, как бульжник, кулак:

- Молчи, вражина!... Заткнись, а то худо будет!

Я понял, что только усугублю протестами свое положение, и замолчал. Лейтенант заполнил мой формуляр. Я стоял убитый, ошеломленный, и ему пришлось по несколько раз повторять свои вопросы, прежде чем они доходили до меня. Деловито подошел старшина с ножницами, обрезал пуговицы у пиджака, брюк, рубашки. Теперь я вынужден был придерживать брюки обеими руками, и чувствовал себя совсем обреченным. Вне партии, без паспорта, "враг народа" - полный букет.

Надо мной хозяйничали два карателя ГПУ. В их глазах я уже не был человеком, со мной можно было не считаться. Все их движения, жесты, реплики говорили о том, что дело это для них привычное. Возможно, через их руки прошли тысячи таких, как я.

Вскоре они вызвали дежурного, который так же повелительно и привычно велел мне идти вперед. Он вывел меня во двор, и там я увидел еще одно одноэтажное строение с затянутыми железными решетками окнами и низкой стальной дверью. Пригнувшись, мы вошли в нее. Дежурный достал из кармана ключ, открыл им дверь одной из камер, и, видя мою нерешительность, небрежно толкнул меня в спину. Дверь за моей спиной захлопнулась.

Это была камера предварительного заключения. Когда я мало-мальски осмотрелся, то среди двух десятков потных,

полуголых обитателей к своему удивлению и радости увидел знакомые лица. Гольдфайн, Брагин, Николаев, Зайд, Бейнфест - все биробиджанцы, коллеги по работе. Брагин, директор опытной станции, возмущался: - Определенно вредители в нашем ГПУ. Арестовать меня, агронома-опытника, в самый разгар сева! Узнают об этом в обкоме партии - Суворову не одобровать!

Приходится его разочаровать: - Ошибаешься, дорогой. Все делается с ведома партийных органов. Меня вызвал секретарь обкома Смирнов и самолично направил в это учреждение. Между ними давно все согласовано.

Под утро конвой вводит Зайда: всю ночь он провел у следователя. Ему шьют шпионаж, лицо у него совсем убитое. Но, увидев меня, он набрасывается с вопросами. Вечером вчера нам не удалось поговорить. Разумеется, его интересуют сведения о семье, я же потихоньку выпытываю подробности о допросе.

Зайд - бывший член Аргентинской Коммунистической партии. На родине он неплохо зарабатывал. Но когда начали записывать желающих переселиться в Биробиджан, он назвался одним из первых. Уехал, преодолев сильнейшее сопротивление родителей, многочисленной родни. Когда же большая часть прибывших переселенцев стала разбегаться, он не поддался панике, остался в Биробиджане. Может быть, потому еще, что женился. Жена его, Дора - близкая подруга моей Тани. Я знаю, что он кристально чистый, честный коммунист, к тому же убежденный, что лучшие коммунисты - это чекисты. И вот эти люди предъявляют ему обвинение!

На воле он всегда ходил подтянутый, в свежей сорочке, а тут за какую-то неделю согнулся, стал словно ниже ростом. Больше всего его тревожит, что станет с его женой и маленьким Энри. Мы уже наслышаны о семьях арестованных. Многие жены в лагерях, дети - в детдомах. Я, как могу,

успокаиваю его, вспоминаю, со слов Тани, что Дора Зайд прибегала на днях к ней с Энриком. Убеждала, что держится она стойко (на самом деле ревела в голос, с ней была истерика).

О ее приходе мне, в самом деле, рассказывала Таня по телефону, но ему я преподношу это, разумеется, без известных мне подробностей. Вряд ли они могут его обрадовать.

Другой знакомый здесь, Арон Гольдфайн, все время молчит. Его тоже каждую ночь вызывают к следователю, но о ходе следствия он ни с кем не делится. Арон - высокий, черноволосый, с красивым мрачным лицом, исхудавший. Недавний руководитель Киевского еврейского института культуры, он - близкий друг расстрелянного председателя облисполкома Либербергера. Когда его среди ночи приводят от следователя, он вытягивается на полу и замирает. Я подаю ему в кружке воду, но вопросов не задаю. Ясно без пояснений: друга расстрелянного "врага народа" не очень-то жалуют.

Рядом с ним Соломон Иосифович Бейнфест - пожилой, тучный, всеми уважаемый. Один из первых мобилизованных в Биробиджане коммунистов. Он возвращается со следствия в полубоморочном состоянии. Проходит немало времени, прежде чем он оказывается в состоянии снова видеть и узнавать. Болезненно морщась, пробует шутить:

- Оказывается, я - видная персона. Никогда не предполагал в себе таких талантов. Меня обвиняют в том, что вместе с Левиным и Либербергером я вознамерился создать про-японское буферное государство. Биробиджан-го, наподобие Манчжоу-го. Каково?.. Обвини они меня, скажем, в национализме, я бы, наверное, меньше удивился. По крайней мере, внешне звучало бы правдоподобно: как-никак, бывший работник Комзета, специфически еврейской организации. Но следователь даже не заикнулся об этом. Он сам знает, что и как, у него особый нюх на шпионов.

-И где же вас угораздило попасть в сети к империалистам?

- О, это давняя история. Еще в двадцатые годы в Москве я продался работнику японского посольства, оказавшемуся ихним резидентом. Он указал мне явки, пароль для встречи, и, как только представилась возможность, я немедленно связался с японскими шпионами Левиным и Либербергером. Стал получать от них задания, втираться в доверие к другим органам, ну и ... Одним словом, дело пошло!

Я подумал, что он шутит - любил Соломон Иосифович веселые розыгрыши, оболванивать публику. Но оказалось, все правда: наших расстрелянных товарищей, и в самом деле, обвиняли в связях с Японией, в намерении оторвать область от СССР.

Еще один знакомый биробиджанец - Николаев, он из секретариата облисполкома. Как и директор опытной станции Брагин, он часто шумит, ругается с надзирателями, требует вызова к начальнику ГПУ Суворову. Но если Брагин не может примириться с тем, что его, агронома, арестовали в разгар полевых работ, то требования Николаева несколько другого рода. Он стремится изо всех сил убедить начальство в своей невиновности, лояльности к властям. При этом само собой разумеется, что все остальные в камере сидят "за дело", он один невиновный. Его еще не вызывали к следователю, и, в общем, неизвестно, как он себя там поведет. Но мне лично его поведение не нравится. Впрочем, возможно, я к нему несправедлив, он ничего еще плохого никому не сделал...

Есть в камере несколько человек, которых вызывают к следователю чаще других, иногда по несколько раз в день. Возвращаются они сравнительно быстро - деловые, спокойные, немногословные. "Молчат" они не так, как, скажем, Зайд или Гольдфайн, - а деловито, озабоченно - тихо шепчутся с соседями, советуют им все подписывать, не дразнить следователей. Соппротивление бесполезно,

нашептывают они, главное, уцелеть, выйти живыми, а там видно будет. На слабых шепоток действует разлагающе, вольно или невольно шептуну эти помогают следователям.

Рядом со мной сидит мужчина лет сорока - чекист времени гражданской войны Митин. Он тоже возмущается, но не тем, что избивают, мучают людей. Его возмущает, наоборот, "мягкотелость", "миндальничание" следователей:

- Нет, мы не так действовали. Мы таких "контриков" пачками в расход пускали.

Изредка его тоже вызывают, но держат недолго. Когда он возвращается, на его надменно-бескомпромиссном лице "старого чекиста" мы читаем классовую непримиримость к "контре". Я стараюсь не смотреть в его сторону.

А камера все пополняется. Привели писателя Добина. Бледный, близорукий, он долго в растерянности стоит рядом с парашей у двери, надевает и снимает очки, вглядываясь в лица. Втолкнули директора областного театра Крайна, затем еще кого-то. В камере становится тесно, все труднее дышать. Я жду вызова, первого допроса. Хватит ли сил выдержать?

6 СЛЕДОВАТЕЛЬ НУЖДИН

20 апреля, после пяти дней томительного ожидания, поздно вечером вдруг выкрикнули мою фамилию, и я шагнул за дверь. В конце коридора остановился у крашеной двери с вывеской: "Следователь Нуждин".

В небольшой комнате за столом сидел широкоплечий капитан. На вид ему было лет тридцать.

Не поднимая головы, он кивнул конвоиру. Минут через десять поднял голову и жестом предложил мне сесть.

Он подробно записал мою автобиографию. Вопрос - ответ, вопрос - ответ. Со стены тяжелым подозрительным взглядом смотрел Дзержинский... Когда и где вступил в коммунистическую партию? Фамилия руководителя партии? Какие получал задания? Как оказался в СССР?

Затем он перешел к моей жизни в СССР. Учеба в Комвузе в Москве. Работа в Комзете... Когда приехал в Биробиджан? Какие имел контакты с арестованными руководителями края и области?

На все вопросы я ответил, ничего не утаивая. Зачем? В своей биографии я не видел ничего криминального. Все говорило о честном пути коммуниста - так мне казалось.

Допрос занял всю ночь. Только в 10 часов утра у следователя иссякли вопросы, и он отправил меня обратно в камеру. Я сразу уснул. Сон мой был спокойным и крепким.

Вечером меня вызвали опять. Следователь не спеша перелистал увесистую пачку исписанных листков и проговорил внушительно, с некоторым даже самодовольством, какое испытывает, наверное, рыбак, чувствующий на леске приличную рыбу:

- Я подробно ознакомился с вашей биографией, Баскин, и прихожу к выводу, что имею дело с изворотливым коварным врагом. Везде: за границей, в Москве, на Дальнем Востоке вы были связаны с разоблаченными ныне врагами народа. Признайтесь чистосердечно, что вы за птица? Сбросьте маску. Для вас же будет лучше, если расскажите нам правду.

Я ответил: - Не моя вина, что арестованы руководители организаций, где я работал в разное время. Их назначал на должность не я, а ЦК партии. Следуя вашей логике, такое обвинение можно предъявить всему без исключения населению: оно никак не могло не подчиняться решениям властей, не исполнять их указаний. Но это же смешно!

- Не прикидывайтесь! - резко оборвал он меня. - Вы заброшены к нам из-за границы. Там вы были связаны с белогвардейцами, шпионами, нашими противниками. Какие вы получили от них задания? Как часто контактировали с врагами народа в Москве, Биробиджане, других местах? Кто еще состоял в вашей шпионской группе?

- Я не знаю, за что вы арестовываете политэмигрантов. Если вам что-либо обо мне известно, то предъявите конкретные обвинения. Выложите факты, устройте очные ставки, но не угрожайте.

- Не тебе нас учить, как вести следствие. Учти, с врагами мы не церемонимся. Мы умеем заставлять их выкладывать правду.

- Да, с вашими методами ведения следствия я уже знаком. Каждую ночь приводят в камеру избитых окровавленных людей. Наверное, и со мной вы будете поступать так же, но выдумывать, врать я все равно не буду. Я готов вам еще и еще рассказывать о себе, отвечать на любые ваши вопросы, но знайте, что я коммунист, а не враг...

Несколько часов длился этот диалог людей, говорящих на разных языках. Я доказывал ему фактами своей жизни, что я

вовсе не тот, за кого он меня принимает, он твердил одно:

- Признавайся!

Изредка в комнату заходил майор, с испытанным злым лицом, заплаканными глазами, весь какой-то помятый, развинченный. Несколько минут он молча просматривал у стола листы допроса, прислушивался к разговору. Бросив на меня колючий, недобрый взгляд, удалялся. Это был начальник областного ГПУ Суворов. Видимо, таким образом он контролировал следователей, направлял их работу.

Поздно ночью, очевидно после полученной от начальства взбучки, Нуждин резко сменил тон, стал кричать, унижать меня. Затем на короткое время он отправил меня в камеру, предупредив, что скоро опять вызовет, и, если буду продолжать упорствовать, то мне будет худо.

В камере я пробыл недолго. В три часа ночи меня снова выкрикнули наверх. Комната теперь была другая, обращенная окном не к улице, а во двор. Нуждин при моем появлении взял лист бумаги и крупными полупечатными буквами вывел на нем чернильным карандашом: "Какую шпионскую контрреволюционную работу ты выполнял?" Лист он прикрепил к стене кнопками. Потом схватил меня за ворот, подволок к стене, ткнул носом в лист и сказал:

- Стой и смотри! Будешь стоять до тех пор, пока не вспомнишь?

Здесь я простоял 5 суток. Стоял днем и ночью лицом к стене. Нуждин заглядывал редко. Вместо него в комнате сидел конвоир. Он наблюдал, чтобы я не присел, не упал. Когда у меня подкашивались ноги и было ясно, что я вот-вот упаду, он обливал меня холодной водой из ведра, которое стояло наготове. Остальное время читал газету, курил, закусывал, смотрел в окно.

Первый день я выдержал сравнительно легко. Когда принесли баланду и хлеб, я отказался есть. Все пять суток я

не ел. Нуждин появлялся только затем, чтобы спросить, буду ли я отвечать на вопрос? Я молчал. Поехидничав насчет того, что над ним не каплет, он пропадал. Видимо, занимался другими арестантами.

Особенно тяжело было стоять ночью. Ночью все было хорошо слышно. Из разных комнат доносились крики, стоны - там шла работа. И чем глубже была ночь, тем страшнее, истощнее становились крики истязуемых и ругань следователей.

Но однажды, на вторую или на третью ночь, до меня донеслись чьи-то сравнительно спокойные голоса. По-видимому, в одной из соседних комнат шло совещание. Говорил мужчина, со знакомыми властными нотками в голосе. Я догадался, что это Суворов. Кого-то он хвалил, ставил в пример. Других обвинял в том, что следствие идет вяло. "Мы имеем дело с врагами... Край требует окончания следствия... Надо любыми средствами добиться признания..."

Мне стало страшно. Совещание не отличалось от обычных сборищ такого рода, к которым я привык. Мы проводили их в МТС, в колхозах, в исполкоме. То же соревнование, те же отстающие и передовики, та же забота о выполнении плана... Только на этот раз речь шла о мучениях ни в чем не повинных людей. Но у Суворова, у следователей совесть чиста. Они твердо, непоколебимо делают свое дело. При такой системе одно слово, даже намек сверху достаточны, чтобы они, не рассуждая, уничтожили тысячи людей...

Через двое суток у меня стали опухать ноги. Я чувствовал, что слабею. Я стоял, и перед моими глазами проходила вся моя прежняя жизнь, год за годом. Не один раз встречал я на своем пути суворовых, нуждиных, я их называл уважительно: "товарищи чекисты". Они проводили чистку за чисткой, арестовывали и уничтожали троцкистов, уклонистов, аграрников. Меня это не касалось. Я был настолько наивен,

что верил: те люди - враги советской власти. Да, я верил в это. Ведь публично выступала только одна сторона, обвиняющая. Другая сторона молчала. Как я стою сейчас и молчу.

Я стоял с опухшими ногами, смотрел на откормленное хмурое лицо конвоира, на его огромные кулаки и думал: откуда же они взялись, эти садисты? Кто их призвал? Воспитал и вдохновляет? Неужели Сталин? А, может, Ежов? Или Политбюро в целом?

Нуждин уже давно отбросил былую учтивость. На мои опухшие ноги он смотрел теперь со злорадством. Несколько раз подбегал, крутил назад, как курице, голову, тыкал в стену с прикрепленным текстом: - Вспомнил? Рассказывай, гад! Смотри, хуже будет!

На четвертые сутки поздно ночью он привел с собой двух помощников. Они несуетливо - как видно, дело это было для них привычным, скрутили мне руки назад и начали бить. Били по лицу, по сердцу. Били все втроем. Вместе и поочередно. Один захватывал подмышку голову. Другой бил в сердце. Третий ломал руки. Одновременно целили по опухшим ногам, в пах. Я не помню, кричал ли я? Наверное, кричал, сопротивлялся. Несколько раз падал, но они тут же меня ставили на ноги и продолжали избивать. Один раз подбежал сам Суворов, ткнул кулаком в лицо, в зубы, и исчез.

Когда начало светать, они ушли, снова повернув меня лицом к стене - окровавленного, с разбитым опухшим лицом и в разорванной одежде. Я едва держался на ногах, дрожал, меня знобило, но изо всех сил я старался не упасть. Потому что дал себе слово выстоять.

На пятую ночь меня снова избили. На этот раз экзекуцией руководил сам Суворов. Он выворачивал мне голову, бил кулаками по лицу, кричал, тарашил глаза: "Жидовская морда". Остальные помогали ему, кто чем: ремнями, кулаками,

сапогами. У меня уже не было сил стоять, я падал на стол, на них. Выливали на голову ведро холодной воды, и снова: удары, дикая боль, темень в глазах, хруст костей. Я хватался за голову, за сердце. Выплевывал кровь вместе с обломками зубов. Кричал. В какой-то момент силы покинули меня. Лежа на полу, я простонал: - Пишите, что хотите...

Суворов мгновенно подскочил: - Подпишешь?

- Пишите, что хотите, больше не могу.

Они оставили меня, я блаженно вытянул ноги. Как хорошо, когда никто не трогает. Прикрыть глаза, вытянуться. Болит все: ноги, голова, сердце. Я повернулся на бок, подтянул ноги к животу и, видимо, уснул. Сколько спал - не помню. Когда очнулся, было уже светло. Около меня стояла миска баланды, лежал кусок хлеба. Нуждин был один и диктовал машинистке.

Я схватил хлеб и стал жадно есть. Слова диктующего Нуждина почти не задерживались в мозгу, но где-то за краешек сознания все же цеплялись:

- "... завербовал меня и дал мне шпионское задание. С этой целью я приехал в СССР..."

Когда до меня дошел по-настоящему смысл этих слов, я перестал есть и отвернулся к стене. Что же я наделал? Сам себя оклеветал. Плюнул себе в лицо. Где же моя клятва: все вынести, выстоять? Нуждин продолжал диктовать:

- "Я вместе с Либербергером, Левиным планировал создать Биробиджан-го, под властью Японии..."

"Либербергер, Левин расстреляны. Такая же участь ждет меня" - мелькнуло в голове.

Лежу, накапливаю силы. Неужели я все-таки тряпка, трус?.. Нуждин поднимается, сажает меня на табурет. Я молча выслушиваю все, что он надиктовал. Он протягивает мне ручку и четыре экземпляра текста. Я киваю, беру бумагу в руки и разрываю в клочья.

Прежде чем он успел что-то понять, все было кончено.

Нуждин с размаху бьет меня чернильницей по зубам, бросает на пол, топчет ногами. Кружит по комнате, как дикий зверь, и снова набрасывается. Выбегает в коридор, но через минуту возвращается. Очевидно, Суворова нет на месте. Наконец, вызывает конвоира и приказывает отвести меня в карцер.

Меня подводят к узкой, обитой железом, двери, толкают по ступенькам вниз. Я осматриваюсь: узкая бетонная щель, ни окон, ни нар. У входа параша. Но я доволен собой. Вытягиваюсь на жестком бетонном полу и засыпаю почти счастливый. Великое дело - чистая совесть!

Просыпаюсь - и не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Ноги, как чурки, выбито семь зубов. Ломит и болит все тело. И все же хорошо, что сумел выстоять, заставил этого убийцу выть от бессилия. Почувствовал себя человеком. Ради этого стоит жить на свете. Еще не все кончено, еще повоюем!

Я с трудом поднялся. Холодно. Стоит глубокая ночь. Сегодня наверняка больше не вызовут. Но и заснуть вряд ли удастся. На память пришел 1931 год. Мы с Хариком только что вышли из тюрьмы в Стамбуле. Стали размышлять, что же делать дальше. Год назад по заданию Коминтерна я оказался в этом Стамбуле.

Харик категорически отказался возвратиться в Москву:

- Я не верю Сталину. Наслышен о нем достаточно. Уеду на Запад.

- Ты что, уже не коммунист? Отступником, предателем стал?

- Был и останусь коммунистом. Но не сталинцем.

Сколько я ни уговаривал его ехать со мной, он остался в Стамбуле. Наверное, потом отбыл куда-нибудь на запад. А я вернулся в Москву - в коммунистическую столицу. Чтобы снова оказаться в тюрьме.

Утром надзиратель приоткрыл дверь и подал мне кусок хлеба и кружку воды - карцерный паек на день. Я сказал ему,

что нуждаюсь в медицинской помощи. Он оглядел меня, ничего не ответил и ушел. Но вскоре вернулся и повел меня на медпункт. Здесь я неожиданно встретил знакомую. Когда-то она вынесла мне из роддома только что родившуюся дочку. Я и не знал, что она сменила место работы. Наверное, много моих товарищей прошли через ее руки, о многом она могла бы мне сейчас рассказать. Но я не подал вида, что знаю ее. Она обработала, перевязала мне раны, незаметно погладила мою голову, жалобно, по-щенячьи шмыгнула носом. Больше я ее не видел.

В карцере я просидел две недели. Было голодно, холодно, одиноко. Особенно горько было в первомайские дни. С улицы доносилась музыка, звуки праздничной демонстрации. Я жадно ловил каждый звук. Маленькая зарешеченная щель под потолком была единственным мостиком, связывающим меня с внешним миром.

10 мая конвой вывел меня из карцера. Была ночь, мы шли по темным улицам Биробиджана. Вскоре я понял, что путь наш лежит на железнодорожный вокзал. В двух кварталах от меня находился мой дом, там спали мои дети, умаявшаяся за день Таня. В какой-то момент мне даже показалось, что я вижу окно нашей комнаты на втором этаже. Но конвой, не позволил мне даже чуть замедлить шаг, чтобы взглянуть в него.

Вскоре вместе с другими я уже трясся в арестантском вагоне.

7. СВИДАНИЕ С ЖЕНОЙ

Откровенно говоря, после "Гулага" и "Ивана Денисовича", "Черных камней" и "Крутого маршрута", написанных не только правдиво, но и с профессиональным блеском, вряд ли так уж интересны будут свидетельства еще одного уцелевшего очевидца. Я полностью отдаю себе в этом отчет, и потому отказываюсь в дальнейшем от хронологически последовательного изложения событий. Ограничусь лишь отдельными, сохранившимися в памяти эпизодами, о которых вряд ли вспомнит кто-нибудь кроме меня.

В Хабаровской тюрьме, в одиночке, я провел больше года. Однажды я был вызван к следователю и увидел там Булыгина. Он сидел за столом и мирно пил чай с белой булкой. Выходит, его не расстреляли на товарной станции? Когда я вошел, он обратился ко мне с такими словами:

- Меня попросили переговорить с вами. Сопротивляться бесполезно. Я подписал все: Советую последовать моему примеру.

- Этот чай с булкой - награда за покладистость?

Он покраснел. Опасливо покосился на дверь, за которой только что скрылся следователь, и заговорщически понизил голос: - Про себя я решил: попаду в лагерь - направлю в Верховный суд заявление. Там опишу всю правду. А тут - бесполезно. Только погибну зря.

- А вы уверены, что живым попадете в лагерь?

- Всех, кто не упорствует, направляют в лагерь. Или на поселение. Так сказал следователь.

- И вы поверили? Глупец! Вы подписали себе смертный

приговор, а теперь сидите за столом своего убийцы и пьете чай. Я считал вас умнее.

Вошел следователь, молоденький лейтенант с усиками, деловито спросил с порога: - Поговорили?

- Встаньте и заявите громко, что вы оболгали всех нас! - торопливо выкрикнул я. - Сделайте это сейчас, немедленно. Потом будет поздно!

Быстро оценив ситуацию, следователь подбежал ко мне, коротко ткнул кулаком в лицо. Свалил на пол и стал топтать ногами, Булыгин сидел с опущенной головой, но я успел еще крикнуть: - Если ты коммунист, а не трус...

Потом я узнал, что его все же расстреляли по решению Тройки.

Меня случай этот ошеломил. Подумать только: Булыгин, идейный "вождь" области, самоуверенный, всезнающий, оказался в час испытания таким ничтожным, никчемным человеком!

Я искал следы других руководителей Биробиджанского обкома: Левина, Либербергера, а также сподвижников Лаврентьева по Хабаровскому крайкому. Биробиджанцев больше не нашел, очевидно, большинство их все же расстреляли там, где держали: на товарной станции. Крутов, председатель крайисполкома, после дикого избиения и пыток, попросил принести ему в камеру машинку и напечатал список всех председателей райисполкомов, заведующих отделами, секретарей партийных комитетов с припиской "Они такие же преступники, как я".

Я хорошо помню Крутова. Уверен, что то не было знаком трусости. Он хотел показать следователям всю абсурдность их обвинений: дескать, если я враг, то вся советская власть такая. Но в ГПУ не желали замечать иронии: показания его приняли за чистую монету и всех упомянутых в списке, еще находившихся на свободе, арестовали.

В начале августа 1939 года по нашему беспроволочному телеграфу пришли вести о каких-то важных переменах в верхах. Вскоре новости уже обсуждали в камерах. Это было поразительно: Ежова сняли с работы и арестовали. Вместе с ним арестовали большую группу сотрудников ГПУ. Следователи растеряны, никто не знает, что будет дальше. Аресты как будто прекратились. Прекратились и допросы.

"Телефон" в тюрьме усиленно продолжал работать. Настроение было приподнятое. Кто-то сообщил, что привезли арестованных следователей из Биробиджана. Ждали важных перемен. И они не заставили себя ждать. Ночью нас, обитателей одиночек, вызвали с вещами, провели через два коридора и ввели в большую общую камеру, наполненную до отказа заключенными. Видно было, что всех, как и меня, только что привели сюда. Шум, радостные возгласы. Споры из-за места на нарах. За двенадцать месяцев одиночества я отвык от людей, от шума. Оглянулся и увидел знакомых: Гольденберга, Бейнфеста, Маевского. Они тоже радостно приветствовали меня.

- Как ты думаешь, для чего нас здесь собрали?

- Думаю, объявят какое-то решение.

- Правда, что Суворов тоже сидит?

- Как будто...

Кое-как устраиваемся, вытягиваемся на нарах. - Ну, Бузя, расскажи, как прожил год? В одиночке?

Бузя Гольденберг, один из первых биробиджанских переселенцев, энтузиаст и заводила, тихо отозвался:

- Да. Плохо прожил. Все время вспоминал погибших товарищей... Не могу примириться с их смертью. Вместе с ними погибла и наша мечта, Еврейская автономия.

- Почему погибла?

- Потому что Биробиджан - искусственное растение. Сейчас я понял: он с самого начала был обречен. Создавать

автономии было бы естественно в местах традиционного размещения евреев: в Белоруссии или, скажем, в Крыму. Но Сталиным движут другие соображения. Когда японцы захватили Манчжурию и начались пограничные конфликты, ему потребовалось заселить малолюдные приграничные районы. Задача скорее стратегическая, чем национальная. Национальные, демографические факторы не учитывались вовсе: удаленность от еврейских центров, непривычный климат, отсутствие исторических корней. Биробиджан, наверное, будет жить, но он будет обычным русским городом.

- Но ты же не станешь отрицать, что начала еврейской общины здесь положены. Действуют еврейский театр, школы, техникумы, издается еврейская газета, осела какая-то часть переселенцев. Организованы еврейские колхозы и МТС. Нас там нет, но Еврейская автономная область развивается.

- Она исчезнет, потому что уничтожен актив. Ликвидировано все, что питало, заботилось о ней. Исчезло с лица земли навсегда. После такого удара еврейское переселение заглухнет. Биробиджан уже никогда не станет центром еврейской культуры.

Мне не хочется продолжать эту тему, я пытаюсь его остановить:

- Нельзя все время думать о мертвых, Бузя, особенно в тюрьме. Мы им уже ничем не поможем. Давай лучше о том, что нас ждет.

Но и на будущее Бузя смотрит мрачнее мрачного:

- Наша судьба решена заочно. Если бы собирались судить, давно бы это сделали. Не держали бы целый год в одиночках. Тот факт, что нас все же собрали всех вместе, свидетельствует, что принято какое-то решение на наш счет. Поживем - увидим, но вряд ли оно будет радостным. - Минуту он молчал, и снова я слышу тоскливый голос: - Мы-то увидим. Но погибшие не

увидят ничего и никогда. И то, за что мы боролись - тоже не осуществится никогда!

Дня через три заключенных стали поочередно выкрикивать наверх. Там в одной из комнат представители ГПУ объявляли каждому, какое принято решение на его счет. От имени Особого Сопения.

С нетерпением мы ждали возвращения товарищей. Одни за другим они спускались к нам со словами: 5 лет Колымы, 10 лет, 8 лет. Внутренне мы давно готовы к этому. В одиночках готовились к худшему. Сейчас, по крайней мере, знаем, что останемся жить. Но без суда, заочно?! Камера снова бурлит, исходит протестами. Ясно, что нас боятся судить очно, сфабрикованные обвинения рассыплются при любом разбирательстве в суде.

Я получил 5 лет Колымы. Некоторых освободили. Из 78 заключенных, находящихся в камере, таких счастливцев оказалось 19. Среди них Бузя Гольденберг. Логика наших палачей простая: они не желали освобождать тех, кто был как-то связан с расстрелянными товарищами, фигурировал в их делах. Я был звеном в деле Либербергера, пресловутом "Биробиджан-го", и, освободи они меня, пришлось бы признаваться в фабрикации всего высосанного из пальца дела.

Мы сердечно прощаемся. Я обнимаю Бузю. Завтра он уже будет дома, увидит жену, детей. Даю ему свои наставления: что передать моим. Он хорошо все понимает. Еще несколько минут, и их уведут за ворота. Мы остаемся, теперь уже в ожидании этапа.

Я вытянулся на нарах, зарылся головой в подушку. Все во мне отчаянно кричало. Долгие годы жил за рубежом, работал в подполье. Трижды сидел в тюрьме, откуда с трудом вырвался. И вот в стране победившего социализма кончаю Колымой. За что? Кому и для чего это понадобилось? Где

найти силы, чтобы все вынести? А, может, взять да и покончить разом? Минута - и конец всему...

Товарищи тормозят меня: принесли ужин. Все вокруг оживлены, разговоры ведутся о предстоящем этапе, о лагере. Не как месте отбытия наказания, а чуть ли не пункте счастливого завершения долгих мытарств. Конец затхлому воздуху тюрьмы, бездействию, параше. Можно будет жить, дышать полной грудью. Я вяло поднимаюсь за баландой: приходится жить.

Прошло два дня. Неожиданно вечером надзиратель выкрикнул мою фамилию. Меня привели в какую-то большую мрачную комнату, разделенную от пола до потолка коридорчиком из проволочных сеток. В этом узком коридорчике сидел на стуле конвоир. За ним, в отделенной от меня половине я увидел ... свою жену. Боже, как она изменилась! Лицо постарело, осунулось. У глаз незнакомые морщины. На губах простуда, они иссечены трещинами, кровоточат. Эти трещинки на губах - старая болезнь Тани, но она совсем перестала за собой следить, смазывать губы жиром. У меня щемит, останавливается сердце от жалости.

Мы делаем движение навстречу друг другу. Но между нами конвоир. Он следит за каждым нашим жестом, вслушивается в каждое слово. Мы можем говорить только по-русски и громко, внятно. Нужно торопиться, время свидания ограничено. Все же первые несколько минут я не в силах проронить ни слова, молчу и смотрю на нее.

Таня, Таня! Как непросто у нее сложилась жизнь. В 1928 году, когда она училась на последнем курсе садово-огородного техникума в Москве, ее родители уехали в Мексику. Отец побывал там раньше, в пору безработицы и нэпа, нашел себе работу и приехал за семьей. Но Таня отказалась покидать страну. Она была комсомолкой, на уговоры и мольбы родителей не поддавалась. А так как никогда не имела тайн от товарищей, то обо всем рассказала в комитете комсомола.

Через несколько дней на доске объявлений техникума появился приказ: "Мосткову Татьяну, как чуждый элемент, исключить из числа студентов... В суточный срок предложить ей освободить общежитие". Конечно, исключили и из комсомола. Она осталась одна в огромном городе, без крова, без денег. Ходила по разным московским учреждениям, везде оставляла свои слезы. Кто-то надоумил ее пойти на прием к Калинин, всесоюзному старосте. Существовала тогда открытая приемная ВЦИК в Москве, где можно было записаться на прием. И тут ей повезло. Усатый худой помощник Михаила Ивановича, заноса в толстую амбарную книгу данные посетительницы: фамилию, возраст, откуда родом, вдруг воскликнул: - Да ты ж землячка моя! А ну, убери слезы!

Он внимательно выслушал ее, покачал головой, куда-то позвонил и обнадежил: - Приходи завтра вот по этому адресу. Михаил Иванович тебя примет.

Калинин принял и помог: ее восстановили в техникуме, допустили к экзаменам. Затем дали направление на Дальний Восток. Здесь мы и встретились... Одна теперь осталась с тремя маленькими детьми. Через пять месяцев после моего ареста она родила дочь Кларочку. Все дети сильно болели. Было время, когда от нее отвернулись, даже близкие люди боялись с ней общаться. Несколько раз она просила о свидании со мной, но ей отказывали. Пришлось уйти с работы. Почти всем женам арестованных пришлось уйти с работы. Сейчас она преподает в школе комбайнеров. Места в яслях для детей нет. Одинокая женщина с ребенком, такая же бедолага, как она, согласилась смотреть за детьми. Но приходится работать за обоих, сверхурочно.

Два дня назад пришел освободившийся Бузя Гольденберг. Он посоветовал немедленно ехать в Хабаровск и требовать свидания. Что она и сделала. Бузя предупредил, что, возможно, через несколько дней уйдем в этап.

Я обещал Тане по прибытии на новое место сразу прислать письмо. Сказал, что буду писать заявление на имя Генерального прокурора с ходатайством о пересмотре дела. Она просила меня не отчаиваться, со своей стороны обещала предпринять все возможное. Наверное, тоже пошлет свое ходатайство, и товарищи подпишут. Тут надзиратель перебил нас, велел говорить только о себе и о своей семье, но не о посторонних. Таня заговорила о детях. Я смотрел в ее осунувшееся лицо (двадцать восемь лет, а выглядит на сорок) - когда еще увидимся? Оставляю одну, с тремя малышками: старшему пять лет, среднему - три, а младшей дочке всего одиннадцать месяцев. Ей будет еще тяжелей, чем мне. Но чем я могу ей помочь?

Надзиратель прервал нас. Время свидания кончилось. Он принял у Тани из рук большой пакет с продуктами и передал мне. Мы распрощались. Таня кусала губы, в глазах у нее блеснули слезы.

В камере я выложил хлеб, масло, сахар, колбасу. Давно уже мы ничего подобного не пробовали: Мы закусывали, я рассказал о свидании. Товарищи были возбуждены, некоторые, кто, как и я, дал о себе знать, надеялись, что к ним тоже приедут родные попрощаться. Потом все замолчали, ушли в себя. Получилось что-то вроде пира во время чумы. Не то праздник, не то поминки.

Прощаться больше никто не приехал. Через четыре дня нас переправили поездом по Владивосток, где располагался транзитный лагерь. Сюда, к берегу океана, один за другим прибывали эшелоны с заключенными. Нам предстояло морем отправляться в неведомую страну Колыму.

8 НА ЭТАПЕ

Из биробиджанских знакомых со мной в этап попал еще Гриша Маевский, учитель. Он, как и многие, был уверен, что его арест - чистая случайность, что его обязательно вот-вот выпустят. В камере он держался бодро, даже беспечно, можно сказать, даже чуть-чуть бравировал своим спокойствием. Но когда огласили приговор и оказалось, что постоянного его оппонента Минского освободили, а ему, Грише, дали лагерный срок, что-то в его "крыше" сдвинулось, поехало. Как рассказывали очевидцы, он вдруг страшно побледнел, схватился рукой за сердце. И с тех пор не может как следует оклематься.

При посадке в вагон я сразу определил, что мест на нарах всем может не хватить, и призвал Маевского к активным действиям. Требовалось энергично поработать локтями, чтобы захватить часть скамейки. Но едва началась давка, как он безразлично махнул рукой, отступил, пришлось делить с ним потом свое сиденье. Всю дорогу мы с ним поочередно менялись, ни разу не прикорнув.

Тесный, шумный, вонючий переполненный вагон до Владивостока - первый этап нашего путешествия. Когда выгрузились - вздохнули с облегчением. Осень в Приморье - прекрасное время. Светло, тепло, легко дышится, и вдали, между холмами, залитая солнцем, блестит полоска океана. Заметно поднимается настроение, кажется, что быстро и нетрудно промчатся пять лагерных лет, после которых я вернусь домой живой, здоровый, а, может, и окрепший на целебном морском берегу.

- Гриша, выше голову! - пытаюсь подбодрить своего поникшего товарища: - Не так страшен черт...

- Ну да, в лагере нас ждут жареная яичница и свежие простыни, - мрачно иронизирует он.

- Нельзя падать духом. Без веры вообще жить невозможно, тем более, здесь, в лагере.

- Эх, Иосиф! Стоит ли тратить силы на жалкую суету, именуемую жизнью? Она не стоит того...

Наша арестантская колонна подходит к врагам транзитного лагеря. Он занимает огромную территорию. Колочая проволока в несколько рядов. Через каждые сто-двести ветров сторожевые будки с часовыми. За проволокой многоместные брезентовые палатки, несколько бараков. Во всех дымят походные кухни. Множество людей сидят и лежат под открытым небом.

Проходит несколько часов, пока нас пересчитывают, пропускают за ворота. Бежим к баракам, к палаткам. Какие-то верзилы загораживают вход: "Занято!" Некоторым новеньким удастся силой прорвать заслон, но у нас это не получается. Растерянно мечемся от палатки к палатке.

- Эй, земляки, откуда? - окликнул голос.

- Из Хабаровска.

- Здешние, выходит? Дальневосточники? А статья, 58-я?

- Она.

- Такие же контры, как мы. Располагайтесь рядом. Под крышу вы все равно не попадете. Там шпана окопалась: воры, убийцы, рецидивисты. Можно, конечно, попытаться вселиться силой. Но для этого надо объединиться. Пока тепло и сухо - лень с ними связываться. Пойдут дожди - тогда займемся.

Мы огляделись. И в самом деле: под открытым небом вполне сносно. Свежий воздух, тепло, сухо. Место ровное, каменистое. Что еще надо? Располагаемся рядом с нашими

новыми знакомыми, подкладываем под головы свои узлы, с наслаждением вытягиваем ноги. Маевский тут же засыпает. Обращаюсь к соседу, приветливому бородачу, окликнувшему нас: - А вы откуда?

- Тут из разных мест: из Москвы, Ленинграда, Белоруссии. Я - из Рязани.

- Давно кантуетесь здесь?

- Десятый день. Когда нас доставили, лагерь был переполнен. Скопилось не меньше тридцати тысяч. Но через три дня почти всех отправили на Колыму. Грузились на баржи вон там, в порту. Когда караван кораблей отплыл, в лагере осталось не больше 500 гавриков. А потом за 5-6 дней снова понаехали.

Теперь лагерь передо мной, как на ладони. Люди толпятся, шныряют туда-сюда точно на ярмарке. Прибывают новые этапы. Вот вернулась из города бригада, занятая на каких-то работах. В разных точках раздают хлеб, баланду. Вновь прибывшие ищут земляков, знакомых.

Получаем и мы свои 600 граммов хлеба, кусочек сахара и баланду: дневную пайку.

- Скажите, трудно попасть на работу в город? - обратился я к своему соседу. Пообщавшись с ним полчаса, я начинаю выделять его из остальной серой массы арестантов. У него борода клинышком и глаза - живые, неунывающие и совсем не озлобленные, в отличие от большинства.

- Людей с квалификацией берут, в городе нужна рабочая сила. Но желающих не так много. И правильно: еще наработаемся на Колыме! А что, у вас рабочая специальность?

- Нет, я - бывший директор МТС, Но при необходимости могу работать бетонщиком. Когда-то в молодости вкусил этого блюда.

- Директор МТС? Тогда давайте познакомимся! Я хоть не директор, но тоже имею отношение к сельскому хозяйству,

агроном. И потом, моя страсть: знакомства. Климов Андрей Иванович! - протянул он руку. Я охотно назвал себя.

- Перекатывайтесь, Моисеич, на мою постельку. У меня тут травянисто, помягче. Пусть ваш товарищ поспит с полным удовольствием. Так где же вы работали директором МТС?

- Под Хабаровском, в Ведийском районе. И еще в Еврейской автономной области. Слышали о Биробиджане?

- Вроде, слышал. Городок есть где-то рядом с Комсомольском. Правильно? Прошу учесть: я арестован еще в 1933 году.

- В 33-м? Значит, уже тогда?..

- Еще как! Я еще родился в сорочке, поскольку остался живым. Мне дали 8 лет, и отбывал я свой срок на Воркуте. В стране Зеков. Огромный комплекс лагерей. И вот, в 1937-м, когда начали рубить головы без разбора, меня вдруг вызывают с вещами на этап и отправляют в Москву на пересмотр дела. Я, конечно, обрадовался, воспылал надеждами. Думал, освободят досрочно. Но не тут-то было. Оказалось, кто-то из моих бывших коллег под пытками составил список участников контрреволюционной группы, фигурировала в ней и моя фамилия. Пахло, таким образом, не освобождением, а дополнительным сроком, если не хуже. Во всяком случае, все упомянутые в списке лица, кроме меня, дружно отправились в мир иной. Но со мной произошел казус. Вдруг обнаружилось, что одна из дат, фигурировавших в показаниях против меня - явно липовая. Ну, просто выпирала. Следовательно, все это сочинивший, запутался и растерялся. С одной стороны, он боялся передавать сомнительное дело в военный трибунал, с другой - отправлять меня обратно в Воркуту. Волынка тянулась почти два года. В конце концов, я получил все-таки свою добавку в пять лет, и вот теперь держу вместе с вами путь на Колыму.

- В самом деле, повезло! - согласился я.

- А вас когда арестовали? - любопытствовал Андрей Иванович

- Весной 1938-го. Теперь я понимаю, что если бы меня арестовали в 37-м, то меня тоже не было бы в живых. Но волей судьбы в 37-м я переключался в другой район, добрались до меня только через год. Так что я тоже родился в рубашке.

- Да, удивительные бывают зигзаги. Ровно через три месяца после моего объезда, в воркутинские лагеря прибыл специальный комиссар ГПУ с чрезвычайными полномочиями, и там под его командой были расстреляны тридцать тысяч заключенных.

- Тридцать тысяч? - изумился я.

- Вы впервые об этом слышите? Такие же комиссары были направлены во все крупные лагеря, где они уничтожили сотни тысяч, если не миллионы людей. Приедем на Колыму, и вы услышите о "деятельности" Гаранина, такого же вот комиссара Колымы. Он лютовал здесь похлеще воркутинского.

- Как это дико, бесчеловечно! Просто невозможно поверить.

- Увы, это так! Но имейте в виду: вы едете на Колыму. Условия существования там жестокие. Если вы будете заниматься правдоискательством, то просто погибнете. У вас должна быть одна дума: как бы не вымотаться на работе, сытнее поесть, теплее одеться...

- Андрей Иванович, а за что вас арестовали в 33-м году?

- А вас за что в 38-м?

- Ну, в 38-м сажали ни в чем не повинных людей, это известно. В начале десятилетия такого ведь еще не было?

- Чрезвычайно ошибочное заблуждение! Скажите, вот вы работали директором МТС. Случалось вам возмущаться действиями властей?

- Много раз. Хотя, в основном, раньше, до моего

директорства. Я участвовал в заселении Еврейской автономной области, когда она только создавалась. И столкнулся тогда с фактами беззакония со стороны властей. Когда же осмелился протестовать, то лишился партийного билета, и стоял на грани ареста. Это заставило меня в последующем быть более сдержанным. Короче, я научился держать язык за зубами.

- Ну вот, а я не был научен горьким опытом. В 1932-м году я служил инспектором в Министерстве сельского хозяйства и часто ездил в командировки в районы. Там я стал свидетелем бессовестного выкачивания из деревни продовольствия и многих других ресурсов. Однажды после одной такой командировки я выложил на партийном собрании некоторые особенно возмущившие меня факты, сделав вывод, что мы ведем гибельную политику, разоряем деревню. Мне приклеили ярлык "аграрника", судили, дали восемь лет и отправили на Воркуту.

- Наверное, не раз пожалели потом о своем опрометчивом поступке? - посочувствовал я.

- Пожалел? Это как посмотреть... - он на мгновение задумался. - Конечно, ведь я оставил любимую жену и сына, нет дня, чтобы я не тосковал по ним. Промолчи я тогда и, может быть, не лишил бы себя самого дорогого на свете. И все же: если я сделал в жизни что-нибудь достойное, то именно в тот момент. Я впервые поборол в себе тогда трусость. Та минута, воспоминание о ней поддерживают меня в тяжелые минуты. Наверное, у вас было нечто подобное?

- К сожалению, нет. Когда мое первое дело благополучно разрешилось, я отчетливо осознал, что по случайности счастливо отделался. И я сказал себе тогда: больше со мной такого не повторится. Я не имею права жертвовать семьей, ее благополучием, да и собственная свобода, возможность

заниматься любимой работой, мне не безразличны. Я больше не шел ни на какие конфликты, тем не менее...

- Смирение вас не спасло - это вы хотите сказать? Как и многих других, к сожалению. Многим казалось, что они могут стоять в стороне от грязных дел, но увы...

Мы проговорили с Андреем Ивановичем до позднего вечера, он на многое раскрыл мне глаза, особенно из того времени, которое я представлял себе как безоблачное, наполненное энтузиазмом и "планов громадье". Он опять разбередил мне душу, и я всю ночь ворочался, не мог уснуть. Гриша Маевский мирно посапывал рядом.

На следующее утро я отправился на вахту и попросил включить меня в состав строительной бригады. Объявил себя специалистом-железобетонщиком. Я и в самом деле в Палестине проработал несколько лет бетонщиком. Меня включили в бригаду, которую под конвоем вывозили в город на какую-то стройку.

Командовал стройкой мастер, вольнонаемный. Мне, как бетонщику, он выдал отдельное задание, прикрепил напарника, и мы приступили к работе. В большой деревянный ящик натаскали носилками песок, гальку, цемент, залили водой и принялись перемешивать. Все вручную, разумеется. Приготовленный замес бетона лопатами перекидали в деревянные формы фундамента. И так до обеда.

Несколько раз подходил мастер, проверял работу. Похоже, что он остался доволен нами, угостил куревом. У моего напарника Николая оказались деньги, он попросил мастера и тот принес нам хлеба, сахар, колбасу, папиросы. Все попало в наши руки завернутым в газету "Тихоокеанская звезда", я оставил ее себе. Роскошный подарок! Девятнадцать месяцев и ничего не читал.

В обеденный перерыв устраиваюсь в тени, подальше от глаз конвоя, и, лежа, бочком, незаметно просматриваю газету.

На восточных границах у нас спокойно. Выращен хороший урожай. На Западе заканчивается освобождение Прибалтики и Западной Украины. Население встречает освободителей с ликованием. Все прекрасно. Мир и спокойствие. За пределами наших границ идет война, немцы наступают, но мы отмечаем это спокойно, без тревоги. Нас не трогают, и мы не ввязываемся в драку.

- Моисеич, прячь газету, - зовет Николай. - Давай закусим!

Мы закусываем, курим, перерыв подходит к концу. После обеда опять беремся за лопаты и носилки. Мой напарник - отличный работник: уравновешенный, спокойный. Он делает все добротнo, сразу видно, что работа для него - привычное дело. Он - бывший начальник цеха на заводе, из рабочих, и возврат к физическому труду для него - не трагедия, а, возможно, гарантия будущего лагерного выживания. Вечером я, несмотря на чудовищную усталость, едва попадаю за вахтенные ворота, как начинаю думать о завтрашнем дне, новой встрече с вольнонаемным мастером. Его милое, симпатичное, немного испуганное лицо мне даже снится ночью.

На следующий день мастер пришел вместе с инженером треста, у них было какое-то дело, связанное с неувязкой в чертеже. Но, покончив с ним, они почему-то принялись расспрашивать нас: откуда прибыли, когда дальше? И тут инженер поделился с нами, что его родной брат тоже осужден на десять лет и сейчас мыкается где-то на Колыме. Попросил, если мы случайно встретим человека с такой же, как у него, фамилией - Тихомиров, то чтобы обязательно поинтересовались, и передали привет от брата. У инженера Тихомирова оказалась с собой свежая "Правда", я попросил ее у него. Он охотно отдал.

Шесть дней мы работали на стройке. За это время мастер настолько проникся доверием ко мне, что согласился

принести бумагу и химический карандаш. Я написал заявление Генеральному прокурору, письмо жене, все это вложил в конверт и передал ему. Через 6 лет я узнал, что мастер выполнил свое обещание. Жена получила мое письмо, перепечатала на машинке заявление. К нему она приложила отзывы работавших со мной людей, в том числе депутата облсовета. Бумаги ушли в Москву. Сам я на это не имел права, так как был лишен права переписки. Впрочем, ответ все равно был отрицательным.

Между тем в лагере уже готовились к этапу. Ходили слухи, что прибыли за нами корабли. Поступали все новые партии заключенных. Перед самой отправкой я вдруг столкнулся с двумя своими однокурсниками по комвузу: Котовым и Волынским. Котов - в разорванной одежде, в одних галошах, у него утащили ботинки. Миша Волынский - заросший, давно не мытый, с бледным лицом. Я смотрел на него и вспоминал нашу встречу в Москве, посещение театров, тяжелый разговор с ним и Певзнером. Как уверенно, спокойно чувствовали они себя тогда! И вот налетел шквал, подхватил и их...

- Миша, расскажи о московских товарищах.

- Началось весной 37-го. Целый год шли массовые аресты. Ежедневно я узнавал, что арестовали кого-нибудь из друзей, и сам ждал ареста. Разгромили и ликвидировали еврейскую секцию при ЦК, переселенческие организации "Комзет" и "Озет", редакцию газеты "Дер Эмес", закрыли наш КУНМ (Коммунистический университет национальных меньшинств), еврейский факультет МГУ. Такой же погром учинили в Киеве, Минске. Меня арестовали в апреле 38-го.

- Где Фрумкина, Брахман?

- Оба арестованы. Об их дальнейшей судьбе я ничего не знаю. Кстати, и Певзнера тоже посадили. Одно время мы сидели вместе. Он страшно шумел, возмущался. Потом его куда-то увели. Больше я о нем не слышал.

- О ком еще знаешь?

- Расстреляли Диманштейна, Чемеринского, Троицкого, Литвакова - почти всех наших руководителей и тех, кто был к ним близок. Я уцелел, потому что был рядовым сотрудником еврейской газеты - меня мало кто мог назвать.

- В чем вас обвиняли?

- В национализме, связях с американским империализмом, шпионаже. Например, ухватились за то, что Американские благотворительные общества посылали через "Озет" посылки для переселенцев. Да мало ли в чем можно обвинить нагло пытающийся сохраниться народ! Известно, что для Сталина евреи - не нация, поскольку у них нет ни территории, ни государства. Выдвинутая им из стратегических соображений идея Биробиджана провалилась, а потому не стоило дальше ломать комедию. Евреев надо ассимилировать, а их руководящее националистическое ядро ликвидировать, чтобы не чинили препятствий. Вот и все!

И опять, несмотря на усталость, на то, что пора бы и привыкнуть к подобным известиям, я ночь напролет ворочаюсь, не могу уснуть. Рухнуло дело всей моей жизни, мечта о социалистической еврейской республике в СССР. Погибли лучшие товарищи - единомышленники. Чем жить дальше?!

Наутро началась погрузка. Выстраивают по 200 человек, выводят к берегу, где стоят в ожидании баржи. Андрей Иванович, мой напарник по работе Коля Тихонов, Маевский, Волынский, Котов и я держимся вместе. Хотим так и погрузиться. Нам это удастся после больших трудов - слабосильных Маевского с Котовым едва не оттеснили. Баржа заполнена до отказа. С натугой ревет буксировочный катер. Город, бухта, извилистый берег все больше отдаляются, мы покорно отдаемся во власть океана. Пока он тихий и спокойный.

Подплываем к кораблю, сквозь строй конвоиров проходим по палубе и спускаемся в трюм, оборудованный трехэтажными нарами. Крики, ругань, каждый норовит захватить нары внизу, поближе к выходу. Нам достается лишь верхний третий ярус. А люди все прибывают. Лежим полуголые, тесно прижавшись друг к другу. Внизу, в проходах, сразу устраиваются очереди на палубу, где устроены туалеты. Некоторые проводят в этих очередях весь день.

Приходят в движение корабельные машины, мы трогаемся. Трюм дрожит, сотрясается. Шестидневное путешествие началось. Изредка мы становимся в очередь на палубу. Высокие волны с ревом бросаются на корабль. Идем вдоль берега. Гористые контуры его видны километрах в десяти. Облачное неприветливое небо. Хочется стоять и смотреть безотрывно, но конвоиры подталкивают прикладами: "Быстрее! Быстрее!..."

В Магадане холодно. Ни тебе ласковых солнечных владивостокских дней, ни звездных теплых ночей. Все хмуро, серо. Город строится. Много новых больших домов. Транзитный лагерь расположен за городом. Быстро движемся колонной через город, конвой подгоняет. В лагере сразу попадаем на конвейер: баня, дезинфекция, парикмахерская, хозсклад. На последнем получаем теплую одежду: телогрейку, ватные брюки, бушлаты, ботинки, шапки. Ждем отправки дальше. Все. Кончилась полоса следствий и допросов, одиночек и общих камер с их отчаянием и надеждами, политическими разговорами и спорами. Начинается полоса тяжелого физического труда на приисках, шахтах, лесоповалах.

Одна за другой уходят на трассу машины с заключенными, Уехали Климов, Тихонов, Маевский. Котов. Остаемся мы с Волынским. Вскоре и Миша машет мне рукой с машины. Наконец, выкрикивают меня. Выруливаем на Большую Колымскую трассу. Что-то ждет меня там?

9. КРАЙ ЗЕМЛИ - КОЛЫМА

О Колыме не хочется вспоминать. Я там провел в общей сложности пять лет. Жил в разных условиях: очень тяжелых, почти невыносимых, и полегче, терпимых. Голодал, болел, но бывал и сытым, сравнительно здоровым. Испытывал жестокое бесчеловечное отношение к себе. Но встречал и людей, делавших мне добро... Чувствовал себя одиноким, бесправным, но иногда ощущал поддержку малознакомых людей.

А вспоминать не хочу, потому что очень редко чувствовал себя человеком. Я не мог достойно, терпеливо переносить голод и холод, месяцами ничего не читал, даже газет, ничем не интересовался, зачастую даже забывал, что идет страшная война... Все мысли и заботы вертелись вокруг лишнего куска хлеба, теплого угла, терпимой работы. Этим я жил. Если же случалось, что человек во мне просыпался, начинал бунтовать и выходить из повиновения, то тем самым приносил сам себе массу дополнительных бед и несчастий.

Началось с изматывающей работы на медном руднике. Кайло, лопата, лом, тачка - обычные орудия труда каменщика, Работа сдельная. Если не выполнишь норму, то получишь не 800, а 600, 500, 400 граммов хлеба, а махорки не получишь вовсе. Целый день толкаешь перед собой тяжелую тачку с рудой по узким щербатым доскам. Они проложены от забоя к железнодорожной ветке.

Весь хлеб съеден еще утром. Вечером из последних сил тащишься в лагерь, съедаешь теплую безвкусную баланду и

бессильно вытягиваешься на нарах. Говорить не хочется, да и сил нет. Сразу погружаешься в тяжелый беспокойный сон.

И так изо дня в день! Я выдержал десять месяцев, до конца августа 1940 года. В самые жестокие морозы устоял, январские и февральские, но с наступлением тепла вдруг сник и перестал выполнять норму. Порция хлеба становилась все меньше: 600, 500, 400 граммов. День за днем я слабел, пока не дошел до полного истощения. Однажды на работе потерял сознание. Почти два месяца пролежал в лагерной больнице.

Больница - это тот же голод, только лежащий. Лежишь целый день голодный и ждешь куска хлеба. То и дело кого-то выносят: очередной бедолага отмучился. Умирать - вот основная больничная работа. Она не прекращается ни днем, ни ночью. Редко кому доводится подняться. Выписавшиеся становятся "доходягами".

Слабый, вялый, голодный - после больницы я на подхвате. То помогаю кладовщику: сортирую, раскладываю вещи, убираю склад, то заготавливаю дрова и таскаю воду на кухню, то чищу от заносов зимнюю дорогу. Общим для этой категории занятий является то, что паек минимальный, но имеется некая возможность подкормиться дополнительно. И поэтому я заискиваю перед кладовщиком, у которого не одна пайка хлеба в заначке. И стараюсь услужить повару, он позволяет очистить котел. На занесенной снегом дороге я уступаю место у костра, натаиваю в ведре воду проезжему шоферу, чтобы получить от него из-под брезента пачку махорки или чая. Конвой за "доходягами" почти не смотрит - на ладан дышат - никуда не денутся.

Весной на моем участке дороги забуксовала в кювете тяжело груженная машина, и несколько часов кряду мы вытаскивали ее на твердый наст. Я промок насквозь. Когда вернулись в свои палатки, у меня температура - до 39,5 - и на попутном грузовике товарищи отправили меня в больницу.

Оказалось - воспаление легких. Целый месяц я бредил, терял сознание и вообще находился между жизнью и смертью. В конце концов, организм победил, я начал постепенно поправляться. Но врачебная комиссия нашла у меня порок сердца. Меня активировали и дали инвалидность.

И тут мне повезло. В числе 15-20 инвалидов меня посадили на баржу и этапировали вверх по Колыме в совхоз Сеймчан. Был разгар короткого колымского лета. Плыть по реке в солнечный теплый день, дышать свежим чистым воздухом, вглядываться в зеленые летные берега - это была давно забытая радость.

Еще больше она возросла на берегу, когда, получив палатки, продукты, пилюли, навьючив всем этим лошадей, мы обнаружили, что идем дальше без конвоя. Никто не подгонял, не кричал на нас, мы шли совершенно свободно. Целый день тащились узкой извилистой тропой вдоль реки. Видимо, мы, лагерные инвалиды, не представляли больше опасности для государства.

Спали у костра, стреножив и отпустив лошадей, а утром начали ставить лагерь. Нам предстояли лесозаготовки. Работа тяжелая, продуктов мало, но мы нашли выход. Наш бригадир Федотов, вольный, посланный с нами совхозом, захватил сеть, и каждый день на рассвете или перед закатом мы выгребали из реки полную сеть рыбы. Кроме того, у Федотова - ружье, нередко он подстреливал какую-нибудь дичь. С июля-августа пошли грибы-ягоды. Мы крепили с каждым днем, свежая обильная пища и чистый воздух делали свое дело. После работы можно было выкупаться, побродить по тайге. Кто-то вырезал деревянные шахматные фигурки и домино.

Весть о нападении Гитлера и начале войны дошла до нас с опозданием. Помню: наш маленький палаточный лагерь гудел и волновался, как потревоженный улей. Все вдруг

вспомнили, что у них есть родные, близкие, многие из них оказались в зоне оккупации. Допоздна не умолкал взволнованный говор.

Среди нас есть и военные. Полковник Беляев Анатолий Максимович - бывший ответственный работник штаба Дальневосточного военного округа. Он не любит говорить о войне. Когда кто-нибудь заговаривает на эту тему, он отмахивается:

- О войне не болтают. Или воюют или молчат. Молите бога, что вы сейчас не там, в мясорубке. Пользуйтесь моментом: живите, наслаждайтесь, набирайтесь сил.

Вместе с напарником из Белоруссии Быковым, из крестьян, сам он почти все свободное время проводит в тайге. С удовольствием рыбачат, рвут клюкву, пасут лошадей.

Но я тянусь не к нему. Почти все время мы проводим с Ефимом Гринбоймом, бывшим директором завода с Урала. Мы оба поначалу были слабыми, "доходягами", но со временем окрепли и теперь легко перевыполняем свои нормы. Гринбойм - отличный собеседник, много и увлекательно рассказывает. Он - основной добытчик новостей. Бригадир Федотов часто посылает его в Сеймчан за продуктами; там он познакомился со множеством людей. Через них и добывает новости о войне.

Сентябрь, становится прохладно. Заготовленный лес теперь связывают в плоты и отправляют вниз по реке. Работа более легкая, чем на заготовке, к тому же стало меньше гнуса. Плоты приходится сопровождать. В основном, этим занимаются Беляев с Быковым, ловкие, азартные "таежники", но раза два пришлось прокатиться и нам с Гринбоймом. С длинными шестами в руках вели мы караваны между больших и малых островов, избегали песчаных отмелей, старались держаться главного фарватера. Доплыли до совхоза, закрепили там свои плоты и вернулись обратно.

В октябре, с наступлением холодов, мы сворачиваем палатки и возвращаемся в Сеймчан. Там - базовый лагерь. Снова переполненные бараки, вахты, блатные, конвой. Нас, группу инвалидов, определили в портняжную мастерскую. Со мной снова Гринбойм, полковник Беляев, есть и женщины. Главное: мы в тепле и здоровы. Относительно, конечно, и не все: у Комарова, например, туберкулез. Он, наверное, никогда уже не будет здоровым. Кашляет, задыхается. В 37-м году, после ареста, его зверски избили в ГПУ. Когда он начинает волноваться, то весь обливается потом. Плохо выглядит и майор Васин, маленький, худой, бледный, как только душа держится в теле?

Главная тема наших разговоров - о войне. Идут бои вокруг Москвы, в Ленинграде блокада, Белоруссия, Украина почти целиком в руках немцев. Мастер нашей мастерской Левин, бывший директор крупной швейной фабрики, беспокоится о семье, которая осталась в Киеве. Военная ситуация в целом его мало волнует. Мой друг Гринбойм оценивает ее сейчас почти как безнадежную. Во всем он винит Сталина: в военных неудачах, миллионных потерях, "внезапном" нападении.

Васин винит западных союзников. Это они не пропускали Красную Армию через Польшу, вели сепаратные переговоры с Гитлером, сейчас тянут с открытием второго фронта. В них главная причина огромных потерь, отступлений. Но, в конце концов, мы обязательно победим. Наша территория огромна, ресурсы неисчерпаемы. Скоро мы их развернем и тогда окончательно прогоним немцев. Так было во время нашествия Наполеона, так будет и теперь. В народе колоссальные резервы, он себя еще покажет.

И в декабре, когда Красная Армия погнала немцев от Москвы, его прогноз, кажется, начал получать подтверждение. Васин ходит победителем. В нашей мастерской звучат военные песни. Даже Гринбойм, васинский оппонент,

бодро подпевает. Он написал заявление с просьбой отправить его на фронт. Конечно, никакой реакции, никто его и не думает призывать.

Но вот немцы снова наступают, захватывают Ростов. Настроение снова отчаянное. По лагерю распространяются слухи, что, если немцы захватят Москву, то всех нас здесь уничтожат, как врагов народа, представляющих из себя потенциальную пятую колонну... Васин высмеивает паникеров. Гринбойм спорит с ним.

Мы не представляем себе, уверяет он, на что способны Сталин и ГПУ. ОНИ, не задумываясь, перешагнут через трупы миллионов, если это покажется для их целей необходимым. Я тоже вступаю в спор: в случае беды нас, скорее всего, облачат в военную форму и отправят на фронт. "А Сталина отстранят от власти?" - спрашивает Гринбойм. Я отвечаю утвердительно. Когда вопрос станет о жизни и смерти, найдутся внутри партии силы, которые, действительно, сметут Сталина, спасут страну. Васин поддерживает меня: в армии, несмотря на сталинский опустошительный разгром, выросли молодые талантливые командиры. Война ускоряет этот процесс. Эти офицеры возьмут верх над карателями, внесут здоровую демократическую струю в общество... Споры наши продолжаются много дней. Иногда они прерываются глухим плачем. Это кто-нибудь из наших женщин подает голос. У одной из них, Веры Морозовой, расстрелян в лагере муж, дети - в разных детских домах. Она ничего о них не знает. Где они, живы ли? Как и другие наши женщины, она приносит с собой в портняжную хлеб, махорку, картофель - все, что удастся добыть или сэкономить. Здесь она заваривает для нас чай, мастерит какую-нибудь похлебку. С ней уютно, мы к ней привязаны.

Я замечаю, что особенно она заботится о Комарове. Лечит его, подкармливает. Когда он задыхается, на лице ее отражается мука.

Летом нас иногда посылают на полевые работы: прополку овощей, заготовку дров. На лагерных парниках я познакомился с Адой Блюм. Она учительница, муж ее расстрелян в 1937 году. Дочь ее осталась у сестры, за нее она спокойна. Мы работаем рядом, и Ада с любопытством расспрашивает меня о жизни за границей, в Биробиджане. Она мне очень симпатична. У нее типичное еврейское лицо, грустные смородиновые глаза, густые волосы, статная фигура. Она приносит мне хлеб и махорку, и я с благодарностью прячу драгоценный подарок под бушлат.

Мне хорошо, радостно с ней, я не позволяю ей поднимать тяжести, выхватываю из рук и сам выношу тяжелые ящики с рассадой. По правде говоря, я уже к ней равнодушен, постоянно думаю о ней, скучаю, когда долго не вижу ее. И мечтаю о том, как мы останемся с ней наедине, вдвоем. Это практикуется, многие находят такую возможность. Но для этого надо быть начеку, кто-то должен следить за конвоем, подавать сигналы. Неподалеку есть навес, набитый деревянными ящиками, в глубине него на ящики брошена рогожа. Я договариваюсь с Гринбоймом, завтра Ада будет меня там ждать. Ворочаюсь, не сплю ночь.

Утром ничего не могу понять: ее нет и нет. Жду, теряюсь в догадках. Всезнающий Гринбойм выясняет: ночью объявили женский этап. Аду увели вместе с другими, куда - неизвестно. Я потрясен. Наверное, и в худшие лагерные времена, когда я жестоко мерз и был голоден, как собака, я не чувствовал себя таким обездоленным, бесправным. Все на свете опостылело. Потеряло смысл в моих глазах. Даже разговоры о войне.

Немцы дошли до Волги, до Сталинграда. Над страной нависла смертельная опасность. Ежедневные сводки сообщают о невиданных по жестокости и напряжению боях. Решается судьба страны. Вся портняжная бурлит, кроме меня.

С уходом женщин мы опять вспоминаем, что такое

лагерный паек, голод и холод. Рядом расположена овощная база совхоза. Там высятся бурты с мороженой капустой, свеклой, репой для скота. Потеряв выдержку, я направляюсь туда. Набираю мешок этого добра, возвращаюсь к товарищам. Добычу оттаиваем, чистим, варим. И несколько следующих моих походов заканчиваются удачно. Но однажды, нагруженный своей поклажей, я натыкаюсь на конвой. Меня тут же отправляют в карцер. Через пять дней обычного карцерного содержания - 200 граммов хлеба и кружка воды - оказываюсь на лесозаготовках. Одет я в легкий бушлат, сырые ватные бурки. Мороз свыше 40 градусов. Конвой все время греется у костра. Пьют чай, покуривают. Нас к огню не подпускают.

На второй или третий день я вдруг чувствую сильную боль в ногах, падаю, теряю сознание. Прихожу в себя в тюремной больнице. Страшная боль в левой ноге, она, как выясняется, обморожена. Грозит гангрена, и хирург вырезает мне пятку. После операции я валяюсь в больнице три месяца.

...Хочется есть. Сидим на кроватях как тени. Молчим. Бледные, слабые, мечтаем о куске хлеба. Изредка приходит Гринбойм, приносит какие-нибудь новости. Главная из них: победа Красной Армии под Сталинградом. Наступление продолжается. Освобожден Ростов-на-Дону. Но я настолько голоден, что не ощущаю радости. Голод поглощает все мои душевные силы. Тем более что известия, касающиеся лично меня, не вдохновляют. Пришел ответ на мое заявление: отказ. Окончился 5-летний срок моего лагерного заключения. И решение по этому поводу - задержать до конца войны - я выслушиваю равнодушно. Не я первый, не я последний. Нога ноет не переставая. Рана не заживает, не могу ходить. Лежу или сижу, как пень. Все атрофировано: мысли, чувства...

Неожиданно меня сажают на баржу и везут по реке в направлении Магадана. Как выясняется, в центральную

Колымскую больницу. Может быть, по той причине, что я необычный пациент: непривычно долго живу. В Магадане несколько лучше: меньше скученности, разнообразней питание. Но большинству это уже ни к чему: они приехали сюда умирать.

Центральную Колымскую больницу можно с полным основанием назвать фабрикой смерти. Одни умирают тихо, незаметно, другие после многодневных страданий. Конвейер смерти движется безостановочно. На нас, оставшихся в живых, он действует ужасающе. Жизнь кажется пустышкой, не стоящей страданий. На меня особенно удручающее впечатление произвела смерть друга моей юности Якова Вайнштока, которого я неожиданно встретил в Магадане.

Как-то медицинская сестра назвала имя тяжело больного, о котором я сразу подумал, что это, может быть, мой друг. Я знал, что он арестован. Много лет его не видел, но имел сведения, что он политэмигрант, бежал в СССР после тюрьмы. Мы вместе мечтали когда-то увидеть первую социалистическую страну, новые отношения между людьми. Вместе боролись, любили, мечтали. Пожалуй, он верховодил в нашей компании. Большинство идей исходило от него, я с радостью ему подчинялся. Он был молод, красив, жизнерадостен, и вот теперь лежал в палате тяжелобольной и умирал.

Меня привела к нему медсестра. Я увидел старое, обросшее седой щетиной, лицо. Глаза были прикрыты. Он прерывисто дышал, на восковом лбу блестели капельки пота. В первую минуту я не узнал его, но, когда он открыл глаза, я догадался, что это он. Его глаза, его губы. Он напряженно всматривался в меня.

- Яша, не узнаешь меня? Это Иосиф...

Что-то изменилось в его лице, появился проблеск осмысленности. Он пытается приподняться, но хватается за

грудь, долго и тяжело кашляет. Я беру его за руку, рассказываю о жизни в Москве, Биробиджане, о лагере, Он смотрит мне в глаза и шепчет:

- Где Лещинский?

- Расстрелян в 37-м.

- Авербух?

- Получил 10 лет.

- Мечтали мы ... о таком ...? - Он опять хватается за грудь. Медсестра делает ему укол - он обессилено прикрывает глаза. Я делюсь с ним военными новостями: решающие бои разгорелись вокруг Курска. Теперь, после Сталинграда, все верят в победу.

- В Польше евреи в гетто. Впереди - мрак...

Он натягивает одеяло на голову и поворачивается спиной к стене. Сестра подает мне знак уходить.

- До свидания, Яша... Постараюсь завтра снова навестить тебя.

Но "завтра" меня к нему уже не пускают. Через два дня его не стало.

Так отходят один за другим большая часть тех, с кем я общаюсь. И сам я чувствую себя живым мертвецом. Но к лету каким-то чудом я оживаю. Меня выписывают в конце июля. Сельскохозяйственные работы в разгаре, и я попадаю на овощной участок. Вернее, отделение совхоза. Тут теплицы, парники, овощные и картофельные поля. Работа для меня привычная: прополка, полив, уборка. Здесь неподалеку женский лагерь. Женщины - основные работники отделения. Нас, группу инвалидов, придают им в помощь. Одна из женщин, бывшая сотрудница Коминтерна Рита Яковлевна "взялась" за меня. Она подкармливает меня хлебом, овощами. Благодаря ей я вскоре окончательно поправился.

В один из августовских дней я вдруг замечаю среди женщин... Аду. Сказать, что я безумно обрадовался ей, было бы неправдой. Я просто стоял и издали смотрел на нее. Пока

она не заговорила со мной первой. Она попала сюда еще в прошлом году. Работает, в основном, на ферме, но иногда посылают в поле. Как сейчас. Радость написана на ее лице. В лучистых глазах жалость, удивление. Я, конечно, тоже рад, но не так бурно, как она. Медленно, не сразу, просыпается во мне прежнее чувство. Сначала легкая волна тепла, потом пламень и жар восторга. Ада ничуть не изменилась. Такая же красивая, стройная, те же грустные смородиновые глаза, те же вьющиеся черные волосы с неожиданной и почему-то привлекательной седой прядкой. Все в ней мне мило, желанно.

В лагере, а еще больше в тюрьме я безумно тосковал о жене и детях. Пытался представить себе их жизнь, их мысли обо мне. Потом я перестал о них думать. Голод, каторжный труд, болезни выбили их из моей памяти. Забыл я и Аду после того, как расстался с ней в Сеймчане.

Кажется, ни разу и не вспомнил ее, пока не встретились снова здесь. И тут я отдался своему чувству со всей неутоленной страстью молодости. Наверное, я полюбил ее. Да и физически окреп за последние недели. Но, может быть, сыграло роль и то, что я потерял надежду когда-нибудь вернуться домой. Я думал теперь только о ней. Тосковал, когда она оставалась на своей ферме.

Если Ада не приходила и на следующий день, я был несчастнейшим человеком. Не спал, с нетерпением ждал утра. А с приближением осени тревога потерять ее и вовсе не покидала меня. Я предчувствовал, что, с возвращением в лагерь, могу лишиться ее. Нужно было что-то предпринять, и я обратился за советом к своему бригадиру. Он был тоже из политических, относился ко мне с уважением. Я часто замещал его, помогая в руководстве бригадой. Неожиданно все разрешилось наилучшим образом.

По ходатайству бригадира меня назначили табаководом

совхоза. Табак здесь выращивался для нужд лагеря. Несколько зимних месяцев в отдельном бараке табак сушили, сортировали, упаковывали. И я был назначен заведующим этим табачным пунктом. Здесь же, в огражденном фанерой углу, было определено мне жилье. Роскошь, о которой я не смел и мечтать.

Мне выделили в помощь несколько человек, в их числе была и Ада. Целый день мы находились с ней рядом. Три месяца работы на табачном пункте - самые радостные, счастливые за годы заключения. Я здоров, расконвоирован, рядом с любимой женщиной. О чем еще можно мечтать? К этому времени Красная Армия уже перешла границу Румынии, Польши. Реально, ощутимо близко виделось освобождение. Но, как это уже бывало не раз, действительность снова напоминала о себе.

В конце декабря отправили в очередной этап мою Аду. Это был жестокий удар. Опять стало пусто, безнадежно в душе. А в середине января и вовсе кончилась моя работа на табачном пункте. Я опять стою на разводе в лагере. Еще темно, холодно. Стою долго. Прикрываю глаза, и сразу вижу перед собой Аду. Милая, родная. Где ты сейчас? ... Окрик конвоя заставляет меня очнуться. Нас считают, выводят из лагеря. Отправляемся на дровазаготовки.

После дровазаготовок - этап. Целый день тащимся, несколько десятков более или менее окрепших инвалидов, по глубокому снегу, пока не выходим к поселку, вернее, лагерю стекольного завода. Здесь бросилась в глаза группа молодых упитанных заключенных, как оказалось, военных преступников. Они получали увеличенные пайки: килограмм хлеба, молоко, мясо, жиры. За что? Вскоре мы их увидели при деле - они стояли на возвышениях в горячем цехе и выдували силой своих легких разные стеклянные формы, главным образом, бутылки. Тут я понял, что они не даром

едят свой хлеб. Мы на такую работу не были способны. Отвозим охлажденные бутылки, складываем их в ящики, помогаем этим геркулесам, чем можем. Хлеба получаем по 500 граммов.

Не знаю, как продолжалась бы дальнейшая моя лагерная жизнь, если бы не очередной этап, оказавшийся счастливым для меня. Это произошло летним днем 1944 года. Мы возвращались под конвоем в лагерь, и на вахте мой давний знакомый Левитин, лагерный доктор, крикнул мне, что я еду в Хабаровск.

- В Хабаровск? Почему я?

Я хватаю его за руку, с сомнением заглядываю в лицо.

- Ты родился в счастливой рубашке! - поясняет он. - Этап уже сформировали, и тут оказалось, что корабль может взять еще 25 человек. Я тут же предложил тебя, сказал, что у тебя отмороженная нога и порок сердца... Беги собирайся, через два часа погрузка.

Он, мой добрый гений, добыл где-то для меня и провизию, скорее всего из своих личных скромных запасов: хлеб, сахар, махорку. Мы обнялись, расцеловались.

- Я ведь помню, что значит для тебя Хабаровск, - бормочет он при прощании.

- Спасибо, друг! Я тебе этого никогда не забуду!

Грузимся в машины, трогаемся. Впереди, за сопками, пока еще невидимый глазу, но желанный и прекрасный на это раз, ждет меня порт.

10. ТАНЯ МЕНЯ НАХОДИТ

В транзитном лагере, под Находкой, одном из тех, где перед войной я ждал отправки на Колыму, я написал второе свое письмо домой. Лагерь и на этот раз переполнен, ежедневно сюда прибывают тысячи заключенных. Как и раньше, дальнейший путь их лежит на Колыму, Камчатку, Сахалин, другие неблизкие места. В письме я писал:

"Дорогая Таня! Я возвращаюсь из Колымы. Сейчас нахожусь в Находке. Хотя одна нога у меня повреждена, но, в общем, чувствую себя сносно. Жду отправки в Хабаровск. Мой срок заключения уже кончился, но придется ждать конца войны. О встрече с тобой сейчас не мечтаю, знаю, как тяжело тебе оставить детей одних. Но, может быть, кому-то из знакомых придется бывать в здешних краях? В этом случае он мог бы найти меня..." Дальше я сообщал, где меня можно найти в Находке: в лагере, на работах в порту, на стройке... Видимо, у меня было ощущение, что пребывание мое здесь может затянуться. Так оно и случилось.

Поначалу нас, группу инвалидов, прикрепили к лагерному обслуживанию. Я попал в барак, переполненный женщинами. Им не разрешалось выходить из барака, они были на положении арестантов. Мы доставляли им пищу, выносили парашу. Впервые я увидел, в каких ужасных условиях содержатся женщины. Они лежали и сидели, плотно прижавшись друг к другу. Многие стояли в проходе, потому что места на нарах им не нашлось. Нечем было дышать, с разных сторон доносились ругань, похабщина, мольбы и

вопли. Распущенные волосы, открытые груди, полуголые тела. Мы никак не можем пробиться к тяжелобольной, которую нужно вынести из барака. На наши обращения никто не реагирует. Кажется, я наблюдаю женский ад.

В полной растерянности возвращаемся на вахту, где нас поднимают на смех. Блатной верзила, тут же выделенный нам в наставники, мигом наводит порядок. Он бесцеремонно растолкал женщин в проходе, приказал им вынести больную самим. При этом самодовольно ухмыльнулся: учитеесь, контрики!

Женщины, с подобострастием и страхом смотрели на его огромные кулаки, с готовностью бросались выполнять любые его команды. Мне было неловко за их поведение, но одновременно и жаль этих несчастных.

Говорят, что они "добровольно" сотрудничали с немцами, жили и спали с ними. Так ли было на самом деле? Те, кто это распространяет, большей частью сами либо бывшие полицаи, либо власовцы - у многих на совести истязания и гибель многих соотечественников. Наверное, некоторые участвовали и в акциях уничтожения евреев.

Но большая часть так называемых военных преступников столь же невинны и несчастны, как эти женщины. Вина первых в том, что, захваченные в плен, они не умерли, а остались жить. За это их осудили на десять, двадцать или двадцать пять лет каторги. Женщины же не дали умереть с голоду своим детям.

С одним военнопленным, бывшим майором Красной Армии, я познакомился. Его звали Иван Кондратюк. В 42-м году его часть была окружена, наполовину уничтожена, остальные попали в плен. Когда наши освобождали Украину, пленные тоже оказались на свободе, но ненадолго. Вскоре они были осуждены на разные сроки. Сейчас они содержатся вместе с другими военными преступниками: власовцами,

полицаями, дезертирами. Ивану дали 15 лет, но это наш, советски настроенный человек. Я сочувствую ему. Предвижу его мытарства в суровых колымских лагерях. И понимаю, как тяжело ему морально.

Вообще лагерь заполнен молодежью, редко кому здесь за тридцать. Новые времена - новые преступники. И новые невинно осужденные. Мы, группы инвалидов, кажемся по сравнению с ними стариками. Трудно поверить, что каких-то семь лет назад этот лагерь был заполнен молодежью, и этой молодежью были - мы!

Нас считают, очевидно, неопасными - отправляют в пригородный колхоз на уборку картофеля. Рядом с нами работают школьники под руководством учителя. Сначала они испуганно косятся на нас, но через несколько дней благодаря учителю мы неожиданно подружились. Он сам подошел к вам и представился: Пронин Трофим Сергеевич. Оказалось, местный житель, инвалид с детства (хромота) и краевед. Мы с ним быстро нашли общий язык, поскольку он выражал нам сочувствие и проявлял интерес к нашим биографиям. И подопечные его, мальчики и девочки, стали с нами разговаривать, исчезли недоверие и отчужденность. Тогда-то я и решил послать письмо домой.

Такая возможность представилась мне через неделю, когда мы попали на работу в порт. В порту большой наплыв кораблей, нас бросают на их разгрузку. Работа тяжелая, к концу дня мы еле стоим на ногах. Зато нередко приносим с собой добычу: сахар, табак, иногда и спирт. Его можно обменять в лагере на теплую одежду.

Письмо я отправил в сентябре. Кончилась работа в порту - я попросился на стройку. Стараюсь вырваться в город при малейшей возможности. Даже на один день не могу оставаться в бараке. Мне там нечем дышать.

Установились крепкие морозы. Работать на стройке много

тяжелей, чем в теплом бараке. Но мне там легче. Я сравнительно хорошо одет: на мне бушлат, ватные брюки, шапка-ушанка. Вечером возвращаюсь в лагерь с ощущением, что день прожил не напрасно. Сделано что-то полезное, я чувствую себя более или менее человеком. В бараке вытягиваюсь на нарах, укрываюсь бушлатом и мгновенно засыпаю.

В начале февраля утром при разводе меня неожиданно оставили в зоне. Строительные бригады отправились в город без меня. В лагере остались только лагерная обслуга и неработающие инвалиды. Мне было приказано ждать на вахте, не отлучаться. Я стоял и гадал, в чем причина? Наконец, все разъяснилось: меня препроводили в кабинет начальника лагеря, где навстречу мне поднялась ... Таня.

Мы оба вопросительно посмотрели на начальника. Он был, по-видимому, неплохой человек. Поднялся из-за стола, торопливо собрал с него и запер в стол какие-то свои бумажки и сказал:

- Вообще-то я не имею права разрешать свидания. В нашем лагере они не предусмотрены. Но поскольку вы уже здесь... в виде исключения ... предоставляю вам свой кабинет на свой страх и риск. В вашем распоряжении ... - он поднес к глазам ручные часы, - полтора часа.

С этими словами начальник удалился, и мы, опасливо косясь на дверь, которая каждую минуту могла распахнуться, протянули друг другу руки и обнялись, Таня плакала, я неуклюже целовал ее в мокрые от слез глаза и, как мог, успокаивал. Мы сели, держась за руки.

- Почему ты столько лет не давал о себе знать? Я с ума сходила, оббила все пороги в ГПУ.

- Я не имел права переписки. И сейчас не имею. Только два раза удалось отправить письма: шесть лет назад и недавно, отсюда.

- Да, в 39-м я тоже получила от тебя заявление на имя Генерального прокурора. Приложила к нему ходатайство от РАЙЗО, его подписали еще несколько депутатов. В исполкоме дали тебе тогда хорошую характеристику. Все это я отправила в конверте в Москву. Кое-кого начали освобождать, я очень надеялась, что бумаги тебе помогут. Но дело почему-то отказались пересматривать.

- Я получил копию ответа с отказом. Понял, что письмо до тебя дошло. Потом начался этап на Колыму... писать не было возможности. Да что обо мне говорить! Расскажи, как дети?

- Все здоровы, живем неплохо. Работаю сейчас агрономом на сортоиспытательном участке. Держим огород, корову ...

- У тебя нет с собой фотографии детей?

- Есть, специально для тебя прихватила. Но старая, перед войной еще снимались.

Она порылась в сумочке и протянула мне порыжевшее фото. Два мальчика и девочка сощурясь смотрели на меня со снимка. Загорелые, по-деревенски стеснительные, в трусиках. Старшему лет шесть. Белобрысый, с серьезным независимым взглядом. Младший на два года младше. Волосы, как у барашка, пузач, смотрит исподлобья. Из-под упитанных щек рвется смешливость. Глаза веселые, беззаботные. Девочка совсем крошка, трет слезливые глаза. Ее, присев на корточки, сзади придерживает мать. Сама Таня в летнем легком платье без рукавов, худая и загорелая до черноты. Сняты у калитки какого-то крепкого крестьянского дома. Где, по какому случаю? Мне все интересно, но я только восклицаю восхищенно: - Молодцы! Хорошо выглядите!

- Сейчас они много интереснее, - она расцветает от похвалы: - Обрати внимание на младшенького, Изик - вылитый отец. Все повадки - твои. А Кларочка, наоборот, - в меня пошла.

- Что обо мне им известно? Как объясняешь им?

- Говорю, что ты в длительной командировке. Очень секретной. О которой нельзя говорить. Рассказываю разные веселые эпизоды из нашей прошлой жизни. Перед отъездом сюда намекнула, что возможно, папа скоро вернется.

- Рады?

- Безумно. Младшие в восторге. Ждут не дождутся сейчас своего папку. Старший чуть более сдержан...

- Догадывается? - сразу заподозрил я.

- Нет, нет, Иосиф, не то! Просто он уже большой, не так непосредственен. Я уверена, что ты найдешь к нему подход. Главное, чтобы тебя выпустили поскорее.

- Ну, теперь уже недолго осталось. Ждем конца войны.

- Да, все ждут. Когда я уезжала, мне многие завидовали. Ты все-таки жив, скоро вернешься, а другом просто некого ждать.

Она безотрывно смотрит на меня несколько секунд, глаза ее опять наполняются слезами.

- Расскажи о Колыме, - просит меня тихо.

Мне не хочется об этом, как-нибудь в другой раз. Мы сидим уже больше часа, вот-вот может появиться хозяин кабинета. А хочется расспросить еще о знакомых, о родственниках. Не слышала ли она о судьбе моих родных, оставшихся в оккупации? Кто из биробиджанцев вернулся с фронта? Из лагеря? Как к ней, жене врага народа, относятся на работе? Таня отвечает, а рука моя непроизвольно тянется обнять, погладить ее, что я и делаю, косясь на проклятую дверь, которая может открыться в самый неподходящий момент. Стучат.

Начальник, определенно симпатичный, как я теперь вижу, немолодой майор, извиняется. Вынужден прервать свидание: у него назначено совещание, люди ждут в приемной. Мы с Таней его сердечно благодарим. Таня развязывает большой

мешок и извлекает из него для меня привезенное богатство: полушубок, валенки, табак, продукты. Я не могу поверить, что это великолепное добро - все для меня.

Мы прощаемся. Растерянный и оглушенный, возвращаюсь к себе в барак. И тут спохватываюсь, что не поинтересовался, когда Таня возвращается, увидимся ли с ней еще? Впрочем, о многом так и не расспросил. Даже фотографию детей не попросил оставить.

И опять валяюсь на нарах, растревоженный, несчастный. Лучше бы она не приезжала! Все во мне кипит, рыдает, стонет. Еле дождаюсь возвращения из города товарищей.

Тут уж стало не до переживаний. Меня окружают, расспрашивают. Многие отправили домой письма, но ответ получил только я, да еще какой! И теперь другие тоже воспылали надеждой: чем черт не шутит! Правда, жена моя живет сравнительно недалеко. Но приезжали же жены декабристов к мужьям в Сибирь, а ведь в то время не было ни железных дорог, ни самолетов. Сейчас добираться проще.

Мы сидим тесным кружком на нарах, закусываем роскошной снедью, и я постепенно успокаиваюсь, окунаюсь сладким махорочным дымом. От меня требуют подробного отчета. Я сам не замечаю, как начинаю фантазировать. Говорю, что ключи от кабинета начальник нам оставил, чтобы никто не мог помешать. Разумеется, мы зашторили окна, разумеется, расположились на удобном диване ... В общем, потрафляю публике, ждущей от меня именно этих подробностей.

Засыпая, снова верю, что все у меня будет хорошо и скоро я буду дома, в своей семье.

11. ЭТО МОЙ ПАПА

На следующий день меня снова не выпустили за ворота. Я ломал голову над причиной и пришел к выводу, что предстоит новая встреча с Таней. Скорее всего, она не уехала вчера, а ведет какие-то сложные переговоры с лагерным начальством. Возможно, меня ждут перемены.

Так я рассуждал про себя, и не только я один. Товарищи активно обсуждали ситуацию. Меня наперебой уверили, что моя жена - женщина пробивная, вполне может и вызволить меня отсюда. Кое-кто при этом многозначительно усмехался. Не чары ли молодой женщины заставляют руководство лагеря уступить ее просьбам, нарушая при этом даже строгие лагерные законы? Что-то, выходит, в ее женском арсенале есть, кроме обычных бабьих слез да, может, мешка с провизией? Признаюсь: нехорошие мысли лезли мне в голову. Вдруг, как снег на голову, мне объявляют срочный этап в Хабаровск. Я понял, что это ее, Танина, работа. Кроме нее хлопотать за меня больше некому. Хабаровск - ведь это домой, может, и свобода меня там уже ждет?

На вокзале я сразу увидел ее. Вернее, сначала ее руку в белой варежке, высоко вскинутую над толпой.

- Иосиф! - крикнула Таня. - Мы едем одним поездом. Я постараюсь попасть в твой вагон.

- Следи за посадкой! - крикнул я, - не прозевай, когда нас поведут.

И несколько часов до посадки передо мной многократно

маячила знакомая белая варежка, которой я тотчас салютовал ответным взмахом руки.

В зале ожидания много военных - солдат, матросов, офицеров. Есть безногие на костылях, перебинтованные, контуженные - с тиком, перекошенными лицами, трясущимися руками. Очереди у касс, у буфетных стоек. Для меня это картины вольной жизни, и я с жадностью впитываю их в себя.

Хотя конвой отделил нас от вольной публики, пассажиры внимательно всматриваются в нас. Возможно, они ищут родных, знакомых? Вот семенившая мимо женщина вдруг остановилась, опустила чемодан и принялась разглядывать меня из-под руки. Я весь поглощен Таней, но кожей чувствую и этот участливо-сострадающий взгляд. Таню же не выпускаю из виду ни на секунду.

Наконец, объявляют посадку. Усаживаемся, трамбуемся в тесное купе. Я вытягиваю шею к окну и сразу ловлю глазами Таню. Она совсем рядом. Не спеша подходит к нашему конвою. Вскоре я замечаю, как из ее большой хозяйственной сумки перекачивается к нему папиросная коробка с фигурой всадника в бурке на фоне заснеженной горы. Конвоир торопливо прячет ее за пазуху.

К нему приблизится начальник конвоя, - Таня тотчас делает независимый вид и отступает. Конвоир, кивнув в ее сторону, извлекает из-за борта шинели коробку "Казбека". Оба с удовольствием затягиваются.

Когда прозвучал сигнал отправления, я увидел, что конвоир пропустил перед собой в вагон несколько женщин, среди них Таню. Из купе, где расположилась охрана, послышался женский смех, там разгорался пир. Порой мне казалось, что и голос Тани звучит в этом хоре. Мне опять стало не по себе. Большинство арестантов спало, покачиваясь в темноте.

Кто-то тронул меня за плечо. Это был начальник конвоя. Он повел меня за собой. В тамбуре он толкнул дверь в кладовку, где хранился уголь. За моей спиной щелкнул замок. Полная темнота, но я кожей чувствую, что я не один. Здесь кто-то дышит рядом. Таня! Ее теплые мягкие руки обвивают мою шею, тянут за собой вниз на кучу угля. Там предусмотрительно постелено какое-то тряпье, но острые глыбы угля все равно впиваются в тело. Впрочем, через минуту я перестаю их замечать, Я чувствую себя молодым, сильным, счастливым. Я будто помолодел на много лет. Мы говорим, говорим...

Вот уже я представляю себя на свободе, событие это произойдет в самое ближайшее время. На нашем вольном опытном участке зреет невиданный урожай, мы все время в поле. Вечером прихожу домой усталый, проголодавшийся, меня радостно встречает семья. Дети, веселые, здоровые, бросаются навстречу, я подхватываю их на руки, обнимаю, тискаю, целую; вместе мы поднимаемся на крыльцо...

Таня говорит, что из всех арестованных в 37-38-м годах и отбывших срок, я возвращаюсь, кажется, первым. Мы перечисляем наших знакомых и друзей, которые - это точно известно - не вернутся уже никогда. Либербергер, Левин, Бриль, Зайд, Морозов. Каждый из них - в моем сердце.

Нет, не смогу я, наверное, зажить спокойно, беззаботно, Не сумею позабыть этих людей. Спокойно жить - значит забыть о страданиях, тюрьме, смерти. Моя память отравлена пережитым. Как только выйду на свободу, все восстановлю, запишу. Дети должны знать правду!

Требовательно стучат в дверь: скоро Хабаровск. Мы присидели с Таней в каморке с углем почти сутки. Плетусь к своим товарищам, затем, под конвоем, выходим на при- вокзальную площадь. Крепкий мороз, выюжит. Таня стоит неподалеку, ежится от ветра.

Нас пересчитывают, я незаметно киваю ей, и мы трогаемся по мощеным хабаровским улицам. Идем быстро, нас подгоняет холод. Впереди, какое ни на есть, а тепло, крыша над головой. Я еще защищен, а мои товарищи в легких бушлатах, в кирзовых сапогах. Они торопятся, горбятся от ветра. И нет более желанной бухты для всех нас, чем душный и вонючий барак опутанного колючей проволокой лагеря. На удивление, за тремя рядами колючки и будкой для конвоя оказался вполне презентабельный двухэтажный кирпичный дом, принадлежавший когда-то, как выяснилось, богатому купцу. Утром мы разглядели как следует и его, и огороженное пространство вокруг. До войны здесь, видимо, шумел зеленый парк, от него сохранилось несколько низкорослых дубов. Сейчас пространство двора сплошь вытоптано ногами заключенных. Все-таки это лагерь, хоть и называется он "инвалидный". Но дом состоит не из камер, а из нормальных помещений - отдельных для лежащих больных, работающих, медперсонала. И приемная врача есть, и аптека, и столовая. В комнатах вместо нар койки, на них матрацы, подушки, одеяла. Мы свободно передвигаемся по двору, ходим из комнаты в комнату. Никто не заставляет нас работать.

Но это последнее обстоятельство оказалось для меня хуже тюрьмы. Через два дня я затосковал. По многолюдному гомону находкинского лагеря, работе в порту, газетам. Я почувствовал себя оторванным от внешнего мира. Тем более после вчерашней встречи с Таней. Я ходил по территории, как зверь внутри тесной клетки.

Кое-кто, напротив, быстро устроился. Например, Андрей Иванович Сухотин. Его назначили возчиком, раскон- воировали. Каждое утро он отправлялся в конюшню запрягать лошадь, затем выезжал за зону. Я просился к нему в напарники, но получил отказ.

Сколотилась группа столяров. Один из них, Брагин, тихий

малоприметный человек, переговорил с начальником лагеря, и тот уже на следующий день предоставил ему помещение для столярной мастерской. Кажется, для этого невзрачного человека здесь началась подлинная жизнь. Даже внешность его изменилась: он порозовел, сделался оживленным, откликнулся на шутки.

Мастерская состояла из двух комнат. В передней работало три или четыре напарника Брагина, которые изготавливали простую лагерную мебель: табуретки, столы, скамьи, а в задней кудесничал сам Брагин. Он занимался гарнитурами для начальства,

Я любил наблюдать, как его искусными руками выстругивалась какая-нибудь гарнитурная ножка или наносилась резцом затейливая вязь. Здесь можно было узнать новости, просто убить время. В конце концов, Брагин предложил и мне работу, с чем я с радостью согласился. К сожалению, я был не столяр и даже, увы, не плотник. С трудом усвоил несколько однообразных операций и целый день, стоя за верстаком, пилил и строгал доски, готовил мебельщикам материал. Но уже то хорошо, что был при деле!

В середине марта начинаются работы в парниках. Я уже знаю, что в лагере есть солидное парниковое хозяйство в двести рам, имеется и теплица. Заправляет всем заключенный Павленко Егор. Бегу к нему, и вот радость: я назначен его помощником. Привычная, близкая моему сердцу работа затягивает меня с утра и не отпускает до поздней ночи. Кроме меня и старика Павленко с нами еще четверо. Один разжигают костры, обкладывают их мерзлым коровяком, другие очищают парники от снега, третьи ремонтируют рамы.

Проходит несколько дней, и навоз начинает гореть, от него исходит горячий пар, привычный запах прели и органики. Мы укладываем его в подготовленные парники, утрамбовываем, засыпаем землей, перемешанной с перегноем,

накрываем теплыми матами. Работа нелегкая, требующая к тому же знаний, опыта. Егор и я - мы оба здесь весь день, роемся в земле, как кроты. Не успеваем оглянуться, а уже подступает время сеять раннюю капусту, за ней - помидоры. День бежит за днем, мы забываем и о новостях, и о том, что живем без газет. Забываем обо всем, кроме работы. Дружно появляются всходы, им требуется пикировка и полив, в то же время в другом месте готовится земля под поздние сорта. Круговорот дел кажется бесконечным.

Незаметно меняется вся природа кругом. Снег оседает, твердеет, становится дырчатым, как червивый гриб. На вытаявших проплешинах появляются зеленые ростки. Небо светлеет, как бы становится выше. Солнце припекает. Тающая земля издает волнующие запахи талой воды, преющей прошлогодней травы, молодых всходов. Рождаются новые звуки: журчащего ручья, прилетевшей пичуги. Выпрямляешь в полдень занемевшую спину и вдруг обнаруживаешь, что мир уже не тот, что был утром.

Наступают первомайские дни, а вместе с ними долгожданное окончание войны с гитлеровской Германией. Эти радостные события доносятся до нас по-прежнему из-за колючей проволоки. Мы - Брагин, Сухотин, старик Павленко - жадно слушаем доносящиеся с улицы ликующие голоса демонстрантов. Конечно, мы разделяем их ликование, тоже испытываем в душе великую радость Победы, но в то же время - боль и обиду оттого, что находимся вне общего праздника, как бы насильственно отстраненные от него. Даже радоваться мы ждем милости от властей. Великий день 9 Мая 1945 года так и запомнился мне сочетанием счастья и горечи, ощущением выброшенности из жизни.

А на следующий день меня окликнули от теплицы. Я увидел возле нее начальника лагеря, рядом стояли улыбающиеся Сухотин и Павленко. Мне многозначительно

указали на теплицу - там за пыльными стеклами угадывались чьи-то неясные силуэты. Заинтригованный, я поспешил туда.

Дверь теплицы отворилась и в ее просвете, улыбающаяся, щурясь на весеннее солнце, показалась... Таня! На голове у нее был кокетливый белый берет, который я хорошо помнил, на шее - тоже знакомый белый вязаный шарфик. Она показалась мне такой красивой и желанной, что я зажмурился. Мы обнялись... Но что это? Из-за ее спины широко раскрытыми глазами смотрят на меня два мальчика и девочка - в аккуратных, подогнанных по фигуркам пальтишках и валенках с калошами, похожие один на другого, на Таню и еще на кого-то, смутно мне знакомого. Ба! Да это ж мои дети! Вот так сюрприз!..

Старший уже совсем большой. Ему десять лет. Он стеснительно, робко отвечает на мои поцелуи, и только прижав к себе его щуплое детское тельце, я ощущаю доверчивое ответное движение. Младший смотрит исподлобья, ждет своей очереди. Я подхватываю его на руки, и он тут же кладет голову мне на плечо. Из-под Таниной руки с любопытством выглядывает девочка, Таня подталкивает ее ко мне. Я никогда не видел своей дочери. Кларочка родилась через три месяца после моего ареста.

Сухотин, Павленко, начальник лагеря заходят в теплицу. Я знакоблю их с Таней и с детьми. Мальчишки уже освоились, бегают под стеклянной крышей, громко перекрикиваются. Кларочка не сходит с моих рук, а окружающим объявляет гордо:

- Это мой папа!

Ее треплют по щеке, ласкают. Даже начальник лагеря, сохраняя достоинство, сказал несколько поощрительных слов Тане, решившейся на такое путешествие с детьми. В теплице уже всюю зеленеет рассада, нам приятно, когда Таня дает ей хорошую оценку. Решаем завтра же приступить к ее высадке на поле, иначе перерастет.

Гости раскланиваются, и я остаюсь с Таней и детьми наедине. Вся семья в сборе. Таня рассказывает, как вчера, в разгар празднования Дня Победы у нее возникла мысль поехать с детьми в Хабаровск. Ей захотелось, чтобы мне тут не было грустно и одиноко в эти радостные дни. Найти меня в Хабаровске для нее уже не составило труда.

- Спасибо, родная! - говорю я ей тихо.

12 В ДВУХ ШАГАХ ОТ ДОМА

Утром у меня прекрасное настроение. Предстоит высадка в поле ранней капусты. Для этого всех заключенных, за исключением лежащих больных, выводят на вахту. Я на ногах с рассвета: готовлю рассаду, насаживаю инструмент. И все время неотступно перед глазами мои милые вчерашние гости: Таня с детьми. Вспоминаю беззаботный детский смех, мысленно всех обнимаю, младших вскидываю на руки. Я испытываю ощущение, что с праздником Победы начинается и для меня счастливая жизнь. Вот-вот раскроются лагерные ворота, и я выйду в вольное поле. Чем не счастье?

Но ведут нас, как обычно, под лагерным конвоем, Сухотин уверяет, что, судя по всему, вот-вот объявят амнистию. Освободимся не только мы, у кого давно закончился срок, но и еще многие. Не может быть, чтобы такое грандиозное событие, как победа над фашизмом, не было отмечено актом милосердия. Так поступают во всех цивилизованных странах.

Даже если нам по-прежнему не доверяют, то после великой Победы, при такой огромной популярности и могуществе Сталина было бы просто глупо опасаться измученных, давно потерявших интерес к политике, людей. И я согласен с Андреем, что амнистия будет. Моя семья не зря ждет моего возвращения. Каждое слово надежды - пророческое, оно немедленно находит отклик в моей душе.

Приступаем к работе. День теплый, солнечный. Сухо, светло. Вдали зеленеет уссурийская тайга, Поблизости змеится и делает петлю река Уссури. Рядом с полем проходит

шоссейная дорога Хабаровск-Владивосток, по ней мчатся грузовики, автобусы, юркие маленькие "эмки". По этой дороге девять лет назад я ездил из Ведино в Хабаровск. Отсюда до Ведино - час езды, не больше. Может быть, все еще возродится для меня? И в какой-нибудь недалекий день я снова примчусь из Хабаровска на газике домой?

Люди устали, перекур. Присев на корточки, прислушиваюсь к разговорам. Идет жаркий спор между Сухотиным и Беловым, бывшим офицером Красной Армии. Белов не согласен с Сухотиным. Он считает, что у нас короткая память. Забыли, что даже в самый отчаянный период войны, когда сотни тысяч солдат попали в окружение, и каждый боец в строю был, можно сказать, на вес золота, даже тогда, в сорок первом, нас не послали на фронт, потому что нам не доверял Он. Тем более, не освободят сейчас, когда Он всемогущ, как бог. Чем невиннее жертвы, тем невозможнее их освобождение. Ведь, освободившись, мы раскроем народу правду о Тиране. Амнистия? Милосердие? Да посмотрите вы вокруг себя! Хотя бы на пленных, получивших двадцать пять лет каторги только за то, что не пожелали добровольно уйти из жизни. Нас не освободят никогда. По крайней мере, пока Он жив. В лучшем случае, мы получим вечную ссылку, а скорее всего - новые сроки!

С неприязнью и раздражением смотрю я на Белова. Я слышу в его словах большую долю правды. Слышу, но не принимаю. Они уничтожают мою надежду, мою веру. Не могу я ее принять. В разгоревшемся споре я душой на стороне Сухотина. Но аргументы Белова, продуманы, логичны. К ним прислушиваются. Лица вокруг то вспыхивают надеждой, то мертвоют, гаснут от безысходности. Конец перекуру. Мы снова склоняемся над землей.

Так проходят май и июнь. Заканчивается посевная. Высажены ранние и поздние овощи, картофель, начинается

прополка. Каждый день утром и вечером мы пересекаем пригородный поселок, там часто встречаем демобилизованных в гимнастерках, шинелях. Есть среди них инвалиды. Мы видели, как однорукий солдат строил дом. Ему помогали двое мальчиков и жена. Они месили глину, подавали кирпич и раствор на подмости, а он клал одной рукой ряд за рядом. Дом медленно рос, стеклился, обрастал крышей. И вот, наконец, окна его засветились. Однажды вечером, когда мы вышагивали мимо, оттуда рвануло на нас музыкой, гамом гостей - счастливая семья праздновала новоселье! Мы долго оглядывались на его праздничные окна.

Миновало короткое лето, настала осень. Мы едва успели убрать картофель и овощи, как повалил снег. И снова оказались в лагере за колючей проволокой, оторванные от остального мира. Лагерь, наверное, единственное место в городе, где ничего не изменилось. Мне кажется, что мои надежды рухнули окончательно. Нет рядом Сухотина, он по-прежнему на своей конюшне. Новости, которые он приносит с воли: об атомной бомбардировке Японии, Нюрнбергском процессе - не поднимают моего духа.

Со мной случилось самое страшное: я потерял надежду. В общем-то, я был сыт, в тепле, не обременен работой. Лагерное начальство относилось ко мне неплохо. Следовало, наверное, терпеливо дожидаться лучших времен. Все-таки должен был когда-нибудь наступить день освобождения. Но я не только потерял надежду и терпение, но сделался нервнобольным. Часто забирался куда-нибудь в угол и сидел там мрачный, нахохленный. Разговаривал громко сам с собой. Опустился, перестал следить за собой.

Почему заболел именно я? Остальные заключенные продолжали жить более или менее размеренной жизнью. Все они живо интересовались событиями на воле. С нетерпением ждали возвращения вечером Сухотина, главного поставщика новостей. Пытались и меня втянуть в свои споры.

Но перед моими глазами неотступно стояли теперь мои жена, дети. Я постоянно думал о них. Сердце ныло и тянулось к ним. Наверное, потому я и заболел, что они находились совсем рядом, рукой подать. А я по-прежнему сидел взаперти. Наверное, в этом причина моей душевной болезни.

Не знаю, чем бы кончилось, если бы начальник лагеря не предложил мне перевестись в Биробиджанский лагерь. Он помнил мою жену, сочувствовал мне. Может быть, там, рядом с ней, я успокоюсь, обрету душевный покой?

Так мотивировал он мне свое предложение, хотя советовал подумать, не спешить с ответом. Он вовсе не настаивал и не гнал меня. Скоро весна, снова парники, дело знакомое, можно попытаться погрузиться в него с головой, и в этом найти спасение. Мне предоставлялась полная свобода выбора.

Друзья советовали по-разному. Сухотин с сомнением качал головой: - В Биробиджане не только твоя семья, но и ГПУ, которое состряпало на тебя дело. Там тебе не дадут спокойно жить. Советую держаться от них подальше.

А Белов, наоборот, решительно настаивал - ехать: - Твоя жена - могучая женщина. Она найдет способ тебя вызволить. Здесь тебе надеяться не на кого.

В конце концов я согласился.

Поезд прибыл в Биробиджан близко к полуночи. Было холодно, вьюжно. Нас провели через пустынную площадь перед горсоветом, мимо здания ГПУ со знакомым фронтоном. Я даже зажмурился, увидев этот особняк, в котором начались мои муки.

Налево шла дорога на Валдгейм. Там жила Таня с детьми. С этой дорогой у меня многое связано. В Валдгейме поселились одни из первых еврейских переселенцев, я здесь часто бывал. Здесь мы с Таней познакомились.

Но колонна повернула направо. Обычный барак с двухэтажными нарами, с железной печкой посередине.

Как инвалида, меня прикрепили к портняжной мастерской. Два десятка женщин и несколько мужчин здесь шили лагерную одежду. В отгороженной по соседству комнате трудились закройщики и мастера. Еще за одной перегородкой - склад готовой продукции.

В столовой иногда крутят кино, но я не хожу туда. По-прежнему сижу вечерами на своих нарах, мрачный, одинокий, ни с кем не разговариваю. Кругом чужие незнакомые люди. К тому же, они уголовники, у меня не может быть с ними ничего общего.

Но оказалось, что среди них тоже есть порядочные люди. Сосед мой по нарам, лет тридцати пяти, с широким открытым лицом, через несколько дней заговорил со мной первым:

- Вижу, немолодой уже... Откуда?

- С Колымы. Закончил срок. Инвалид. А вообще здешний, биробиджанец.

- Как же так? Срок кончился, а сидите? Почему?

- Сам не знаю. Не выпускают.

- Незаконно! Надо требовать. Должны выпустить, раз срок кончился.

- Легко сказать. Пробовал - не получается... У меня тут недалеко жена, дети. Мечтаю хотя бы увидеться с ними.

- Для начала нужно дать о себе знать. Я, пожалуй, вам в этом помогу. Напишите им письмо.

- Вы работаете в городе? - встрепнулся я.

- Да, в строительной бригаде. Рядом вольные строители - письмо можно переслать с ними... Моя фамилия Родионов, - доверительно отрекомендовался он, - Дмитрий Сергеевич. А вас как звать?

- Иосиф Моисеевич.

- Очень приятно! Наверное, для знакомства мне следует рассказать, за что я тут нахожусь? Пожалуйста... Но это длинная история, наберитесь терпения. Откровенно говоря,

трудно держать это в себе бесконечно, чертовски хочется с кем-нибудь поделиться...

В общем, всю войну я провел на фронте, закончил службу в Чехословакии, восемь месяцев назад вернулся домой. Нашел жену и трех дочерей вполне здоровыми, устроенными. Старшая дочь заканчивала медицинский техникум, другие учились в школе. Жена работала - в общем, все хорошо, лучше не надо. И тут я узнаю от дружков, что жена все эти годы путалась с военными. Стало так муторно на душе, что хотелось уйти, куда глаза глядят. Но куда уйдешь от детей? Я по ним так соскучился, так счастлив был их видеть, что преодолел свою злобу, ревность к жене, простил ее и смирился. К тому же, я вспомнил свои собственные похождения, когда оказался в роли победителя, в последние месяцы войны. Я был тоже не ангел, покуролесил тогда... Одним словом, я постарался забыть о том, что услышал, и начать все сначала. Устроился на работу по своей гражданской специальности - техником-строителем. Мы зажили внешне мирно, обеспеченно. Многие нам завидовали. Я планировал весной начать строить собственный благоустроенный дом, куда мы должны были переехать из барака, постепенно заготавливал для этой цели кирпич, цемент, шифер. В горсовете где-то двигалось в числе других мое заявление об отведении земельного участка. Перспективы были самые радужные.

Вдруг до меня доносится слухок, что Надька моя продолжает свои старые делишки. Она в военной части работала, ларьком заведовала на сопке. Я убеждал себя, что все про нее вранье, сплетни. Если бы я мог сам в это поверить! Говорил себе, что ничего подобного не было в помине, а сам организовал слежку за ларьком и поймал ее с поличным, когда она выходила из квартиры холостого майора. Она, разумеется, смешалась, увидев меня, но не растерялась. Принялась объяснять, что нередко разносит по квартирам командиров

продукты, это входит в ее обязанности, Я чувствовал, что она врет, но доказательств не было. Она насмешливо рекомендовала мне пойти к майору и спросить у него. Я был пристыжен.

Но успокоиться не мог. Ревность обуревала и жгла меня. Надо сказать, что дети мне не сочувствовали, в наших спорах с матерью всегда становились на ее сторону. Вслед за ней они набрасывались на меня с ругательствами, называли глупцом, сумасшедшим. Я вынужден был замолкать, таить свою ревность и злобу. Бывало, целыми вечерами, иногда и днем, я тайно следил за женой. Затаюсь где-нибудь поблизости от ее ларька и часами наблюдаю. Вскоре я вторично поймал ее с поличным. Они с майором вместе вышли из ларька, он держал ее под руку. У автобусной остановки он полуобнял ее, поцеловал. Она уехала веселая, оживленная. Мне казалось, что доказательств теперь достаточно.

По пути домой я убеждал себя: при детях не скандалить, припереть ее, а если начнет врать, изворачиваться, то собраться и уйти из дома. Но когда, открыв дверь, я увидел ее фальшивое невинное лицо, то не выдержал, крикнул:

- Подлая тварь, наконец-то я поймал тебя с твоим любовником! Он вел тебя под ручку до автобуса. Там вы обнимались на виду у всех, я это видел. Признайся честно, и мы мирно разойдемся!

- Ты сумасшедший! - Она отпрянула, в глазах мелькнул испуг: - Все твоя больная фантазия! - Сбежались на крик дети, оглянувшись на них, она почувствовала себя смелее и сама перешла в атаку:

- Псих! Пришибленный! Убирайся, куда хочешь, но не смей при детях оскорблять меня!.. Они тебе все равно не поверят. Они знают, что ты ничтожество. Ты, а не я!

Тут я не выдержал, выбежал в коридор. На глаза мне попал топор. Я схватил его, размахнулся, целя в голову. Но она

успела вытянуть вперед руки, и удар пришелся по кисти руки. Кровь хлынула меж рассеченных пальцев. Дети выбежали на улицу, подняли там страшный крик. Жена тоже заходилась в крике. Сбежались соседи, увидели меня с топором в руке, навалились и связали. Я не сопротивлялся. Приехала милиция; пока составляли протокол, проводили дознание, я сидел с опущенной головой и молчал. Надю увезла скорая помощь, дочери во всем обвинили меня, называли сумасшедшим. Когда меня увозили, они отвернулись, даже не взглянули в мою сторону.

Следствие велось предвзято. Следователь, прокурор, а затем и судья - все придерживались версии жены. Никто не желал слышать, что она была распутной и лживой женщиной. Ее дядя, старый коммунист, влиятельный работник горисполкома, сделал заявление, что я психически ненормальный человек. Была назначена экспертиза, которая подтвердила его слова. Я был объявлен сумасшедшим. На суде прокурор назвал меня социально опасным, подлежащим изоляции. Мне грозила участь вечного узника дома для сумасшедших. Но, видимо, я был все же мало похож на сумасшедшего. Мои ответы выглядели слишком логичными. Да, к тому же, что ни говори, я был участником войны, награжден несколькими боевыми орденами. Суд отклонил версию прокурора. Меня осудили к пяти годам лагеря.

Не могу вспоминать спокойно поведение жены и детей на суде. Сердце мое к ним рвалось. Достаточно было бы мне услышать одно доброе слово от них, как я бы простил Надю и спокойно принял наказание. Но этого не произошло. Никто ни разу не пришел ко мне на свидание в тюрьму, не написал в лагерь. А сердце мое по-прежнему тянется к моим девочкам. Я готов на любые унижения, лишь бы они не думали обо мне так плохо...

- Дмитрий Сергеевич, а не лучше ли вам перевестись в

другой лагерь? - высказался я. - Насколько я понимаю, жена и дочери ожесточились против вас, примирение вряд ли возможно.

По тому, как он посмотрел на меня, я понял, что не должен был говорить этого.

- Ведь и вы приехали сюда из-за семьи, не так ли? Я кивнул утвердительно.

13. ЦЕНА СВОБОДЫ

Меня определили на работу в портняжную мастерскую. Каждый день я ждал вестей от Тани. Письмо ее было вручено Родионову на следующий день после нашего разговора, но ответа все не поступало. Я сидел в тепле, неспешно строчил на швейной машинке, но нетерпение сжигало меня. Много раз меня подмывало бросить мастерскую и записаться в строительную бригаду, но я все не решался. Мне казалось, что стоит только появиться на улицах Биробиджана, как меня тотчас узнают, разнесут весть обо мне по городу и, не дай бог, увидят меня под конвоем мои дети. Возможность совершенно невероятная, но именно ее я почему-то больше всего опасался.

Я написал Тане второе письмо, затем третье. Прошел февраль, наступил март. Дмитрий Сергеевич меня успокаивал, высказывал предположения: кто-нибудь из детей заболел, дела не отпускают, сама занемогла. Но я-то хорошо знал, что именно зимой меньше всего дел на сортоучастке. Впрочем, она сумела вырваться ко мне в Хабаровске даже в мае. И детей с собой привезла. Значит, дело не в работе. Может, и в самом деле, что-то случилось? Я не знал, что подумать.

В конце марта меня вызвал к себе начальник лагеря. Он и раньше неплохо ко мне относился, а тут высказался в том духе, что слышал обо мне от руководства хабаровского лагеря как о знатоке сельскохозяйственного дела. Так не возьмусь ли я за организацию лагерного овощного хозяйства здесь, в Биробиджане?

Я долго не раздумывал, сразу дал свое согласие, тем более, что начальник обещал меня в этом случае расконвоировать. Для начала мне было предложено обследовать и выбрать подходящую землю вблизи лагеря, а затем организовать вывозку туда навоза из лагерной конюшни. Этим делом я занялся незамедлительно.

А на следующее утро в лагере появилась Таня. Вот уж поистине: радости поодиночке не ходят. Весна, работа по душе, а тут еще и женушка явилась - не запыхалась. Я, конечно, накинулся на нее с упреками. Таня сказала, что получила от меня всего одно письмо недели две назад, а больше ничего почта не приносила. Сразу приехать не могла, так как младшенький, Изя, простудился, лежал дома с температурой, и не с кем было его оставить. Только вот сегодня удалось вырваться. Дома и на работе все в порядке, сегодня уже и Изяку лучше.

- Ты-то здесь как?

У меня теперь тоже было все в порядке. Я с радостью принялся рассказывать ей о своей новой работе. Мне пришла в голову мысль, что она могла бы, наверное, помочь мне: поделиться семенами, какие удастся наскрести. Таня обещала.

Она передала мне сумку с продуктами, кое-что из вещей. Был выходной, воскресенье, меня обступили соседи по нарам, началось угощение. Я на радостях принялся агитировать желающих в свою бригаду. Обещал привольную жизнь, обильные харчи, брал на себя уладить перевод с начальством. Один из моих соседей, Павлов, мгновенно дал свое согласие, другой, Ларионов, с подозрением относившийся ко всякому легкому счастью, обещал подумать. Дмитрий Сергеевич не пожелал менять строительный хлеб на "навозный", но по выражению его лица, оживленному, дружески открытому, я видел, что он рад за меня.

И вдруг я услышал ехидный смешок с верхних нар. Я

поднял глаза и увидел ухмыляющуюся небритую физиономию. Человека этого я видел часто, фамилия его были Степанов. Очевидно, он был в курсе моих событий, потому что бросил мне сверху почти по-приятельски:

- Со свиданьем вас! Дождались-таки супругу свою?

- А вам какое дело до моей супруги?

- Да, в сущности, никакого. Но я ее знаю. Бывал в Валдгейме, где она обитает. Живется ей там неплохо, у нее квартирует постоялец, бравый такой капитан. Она за ним, как за каменной стеной. Так что зря о ней беспокоились...

- Пусть вас не волнуют мои заботы.

- Как угодно. Можно и помолчать. Но я хотел вас проинформировать.

Тут один из моих сотрапезников, Ларионов, обычно немногословный, миролюбивый, прервал его "информацию", рявкнув:

- Ты, падла, специально все выдумываешь, чтобы человека расстроить. Заткни репродуктор, слышишь? Или морду тебе набить?

- Все, молчу.

Все же Степанов добился своего: я потерял покой. Внутренний голос ополчился против жены: не все в словах этого подонка ложь, что-то и правда. Вполне возможно: не очень Таня торопилась с ответом. Было о чем ей поразмыслить: стоит ли связывать дальнейшую жизнь с зэком? Он хоть и отец ее детей, но инвалид, да к тому же бесправный. Ничего хорошего с ним ее не ждет. А жизнь, какая ни есть, уже сложилась. Ведь прожила она одна без мужа девять лет. Нашелся добрый человек, оказал внимание. Молодая, здоровая... Но, с другой стороны, ведь нашла она меня в Находке, а затем в Хабаровском лагере. Не может быть, чтобы все это была ложь: приезд с детьми, планы совместной будущей жизни. Не приснились же они мне!

Дней через десять Таня явилась с семенами, сказала, что дома с нетерпением ждут моего освобождения. Что оно близко - в этом она убеждена. Вскоре я успокоился и с головой ушел в работу. Но внешние события скоро охладили мой пыл. Шла весна 1946 года. Обострились отношения между бывшими союзниками. Однажды нас всех собрали во дворе лагеря и зачитали ответ Сталина на фултонскую речь Черчилля. Стало ясно, что раскол между союзниками завершился, в любой момент может снова вспыхнуть война. Для меня это означало, что освобождение снова стало проблематичным. Десятый год я находился в заключении, а конца не видно. Настроение упало, растаяли надежды.

В один из июльских дней Таня приехала вместе с детьми. Она выглядела усталой, а дети были худые, плохо одетые. Мне показалось, что Наум, старший, смотрит на меня хмуро, что ему стыдно за своего отца. Тяжелым было для меня это свидание. Я вернулся к себе полный мрачных ожиданий. Казалось, в жизни опять нет просвета.

Через неделю по лагерю распространился слух, что политических, у кого закончился срок, собираются выслать на постоянное жительство в Казахстан. Я напрямик спросил начальника лагеря об этом. Помявшись, он подтвердил: да, ожидается решение о нашем освобождении, но с ограниченным правом проживания. То есть нужно особое ходатайство, чтобы меня оставили в Биробиджане.

Я немедленно написал об этом жене. Мне стало казаться, что в любую минуту я могу быть разлучен с семьей. Ожидание было теперь мучительно. 20 августа меня вызвал к себе начальник лагеря. В его кабинете сидел незнакомый мне полковник с багровым гипертоническим лицом. Он строго посмотрел на меня и сообщил то, о чем я уже знал:

- Заключенных, у которых закончился срок, мы отправляем на поселение в Казахстан. Вы относитесь к этой категории.

Но местные организации ходатайствуют за вас - просят оставить в городе. Для нас это серьезное нарушение инструкции. Мы можем сделать для вас исключение, если вы согласитесь сотрудничать с нами. То есть станете здесь нашим негласным осведомителем. Только на этих условиях вы можете быть оставлены в пограничном районе. Выбирайте!

Я что-то промямлил насчет того, что никогда не занимался подобного рода деятельностью, что я инвалид, нервно-больной, вряд ли справлюсь с поручением, и так далее. Полковник возразил, что не боги горшки обжигают, мне дадут возможность устроиться, успокоить нервы, наладить жизнь и вообще первые месяцы не будут беспокоить.

Конечно, мне следовало собраться с духом и твердо, решительно отказаться. Пусть отправляют в Казахстан, в конце концов, я мог бы вызвать семью к себе. Везде живут люди. Но то ли охватил меня страх потерять семью навсегда, то ли нетерпение освободиться сыграло свою роль, только я пробормотал, что согласен, и был оставлен в Биробиджане.

Этот день, 20 августа, день моего освобождения, и моего позора, конечно, остался черной датой в моей памяти. Я получил долгожданный паспорт. Увязал свой нехитрый скарб, распрощался с товарищами. Всю дорогу домой меня терзала мысль о цене, заплаченной за свободу. Другого выхода, убеждал я себя, у меня не было. Я не имел права бросить на произвол судьбы жену и детей, и без того достаточно пострадавших. Главное, я с ними, а на подлости я все равно не пойду. Никогда в жизни я не сделаюсь стукачом и доносчиком!

Я вышел на дорогу, ведущую в Валдгейм. Вдоль кромки леса тянулась железнодорожная ветка. В 37-м здесь, в районе Птичника, в нескольких километрах от города, стояли товарные вагоны с арестованными руководителями области.

Здесь их, по слухам, и расстреляли по решению военного трибунала. Я свернул с дороги и пошел по рельсам. Сейчас ветка была пустынна. Но перед глазами неотлучно стояли мои мертвые товарищи. Я на свободе, однако радости нет. И, наверное, никогда уже не будет. Душа навсегда отравлена памятью о прошлом. Птичник сильно разросся. Со слов Тани я знал, что теперь в нем самостоятельный колхоз, и председателем работает мой старый товарищ Бакман. Когда-то мы заложили здесь небольшую птицеферму. Может быть, зайти, поговорить? Нет, нет, не сейчас. Быстрее домой.

Я ускоряю шаг. За птичником дорогу обступает тайга. Тепло, солнечно, золотая дальневосточная осень. У обочины дороги шеренгой выстроились копны ароматного сена. В одном месте женщины стогуют, ворошат его. В отдалении пасется колхозное стадо. Мирные счастливые картины, они меня волнуют бесконечно. А вот и Валдгейм. 12 километров я одолел на одном дыхании. У колхозной конторы несколько человек смотрят в мою сторону, но явно не узнают. Нахожу дом, где живут мои.

Открываю калитку, и тотчас бросаются мне навстречу с крыльца жена и дети. Хватают за руки, виснут, отнимают котомку. Поднимаемся по ступенькам крыльца, входим в дом. Маленькая кухня с русской печью и полупустая, с голыми стенами, комната. Широкая лавка вдоль стены, несколько табуреток вокруг стола. Узнаю кровать с бязевым покрывалом, сундук и этажерку. Дети сразу облепляют лавку: похоже, это их главная мебель в доме. Кроме, как на лавке, им негде играть, делать уроки, спать.

Таня нагрела в чугуне воду, заставила меня раздеться и в кухне за ширмой устроила мне баню. Ее сильные ласковые руки дерюжной мочалкой скоблят мне спину, иногда вдруг замирают, и я чувствую тогда прикосновение мокрой щеки к костлявой своей лопатке. Я оборачиваюсь, притягиваю к себе

ее голову с распущенными волосами, тянусь к ней губами. Я чувствую, как наливается мужской силой мое ослабевшее тело и как, наоборот, слабеет, обретает женскую покорность ее, отвыкшее от мужской ласки и опоры.

Переодеваюсь во все чистое. Садимся за стол. Таня подает обед, я с радостным изумлением оглядываю расположившееся вокруг семейство и... вдруг слышу тонкий, как бы раздумывающий голосок девятилетнего Изика:

- А дядя Паша больше не будет у нас обедать?

Мне следовало бы отреагировать спокойно, может быть, поинтересоваться: "Что за дядя Паша?" - и выслушать отзыв о незнакомом мне человеке. Но перед глазами тотчас возникло свесившееся с нар гнилозубое лицо Степанова со злорадной ухмылкой, в ушах зазвучал его насмешливый издевательский голос, и я поднялся:

- Значит, дядя Паша? Поэтому ты не отвечала на мои письма?

- Иосиф, что ты говоришь? - застыла у печи с ухватом Таня. - Вспомни, где ты был? Пропал, как в воду канул. Я одна поднимала их, намучилась, а ты, не успев явиться, уже предъявляешь мне счет.

- Почему ты не отвечала на мои письма? Почему не приезжала? Была занята со своим ухажером?

- Не ухажер он, а постоялец. Между прочим, хороший человек. Много раз выручал меня - помогал продуктами, дровами. Валеночки вон достал Кларочке. Тебе бы благодарить его, а ты несешь всякую чепуху. Детей бы постеснялся!

Но я уже не мог остановиться. Все во мне кипело. Ради кого я продался дьяволу? Нужно немедленно вернуться в лагерь, взять назад свое согласие. Пусть будет лагерь, пусть Казахстан, здесь мне жизни все равно не будет. Она отравлена для меня навсегда. Прочь отсюда, прочь!

Я схватил с лавки котомку, выбежал из дому. И не оглядывался, пока не оказался за околицей села. Тут только я обернулся. Метрах в тридцати, хлюпая носом, ковылял мой младший сын. На нем была латаная курточка, из-под которой выбилась старая застиранная майка. Увидев, что я остановился, он издали заканючил:

- Мама меня прогнала. Она плачет. Вернись, папа...

Он подошел и робко, с надеждой ухватил меня за руку. Я не мог двинуться с места. Маленькая ручка, вцепившись в мой рукав, держала меня, как якорь. Я почувствовал острую жалость к этому маленькому родному человечку. Смотрел на его старую латаную одежду, на залитое слезами лицо и понимал, что не в силах просто так вырвать свою руку и уйти.

Да и права она, Таня! Как я смею упрекать ее? Десять лет молодая женщина одна поднимала детей. Они болели, выросли - все без меня. Я даже не давал знать о себе: жив ли мертв, она долго не знала. И при этом никогда не забывала обо мне. Подумаешь, какой праведник нашелся! Сам-то занят был собой, о семье и не вспоминал. А юбки, между прочим, при возможности не пропускал - вспомнить хотя бы Аду!

Я обнял Изика за плечи и повернул обратно. В проулке, недалеко от дома, я увидел Наума. Он, прильнув к забору, видимо, наблюдал за нами с этой позиции. Я окликнул его. Он поплелся сзади метрах в двадцати.

Дома я сбросил котомку и принялся за прерванный обед. Он прошел в молчании. После обеда я взял топор и пилу и стал во дворе заготавливать дрова. Тут же оказались мои мальчики, очевидно, посланные матерью. Они распиливали двуручной пилой толстые кряжи, при этом часто ссорились и ябедничали друг на друга. Я сначала не реагировал, но вскоре не выдержал и прикрикнул на младшего, который очень уж явно задирался, пытаясь переложить вину на Наума. Тот считал ниже своего достоинства оправдываться, но достаточно ревниво прислушивался к моему судейскому вердикту. Я постарался быть максимально справедливым. Ночью мы с Таней помирились.

14 В ВАЛДГЕЙМЕ И НА ПТИЧНИКЕ

Не скажу, чтобы случай этот забылся совсем. Но в дальнейшем мы с Таней эту тему никогда больше не затрагивали.

Для меня началась новая жизнь. Семейная. Почти незнакомая, несмотря на наличие троих детей-школьников и 15-летний семейный стаж. Увы, с 10-летним перерывом.

Дома - пусто, нет ни обстановки, ни теплой одежды, ни постельного белья. Дети изможденные, худые. Нет коровы, поросенка. Только огород выручает. Картофель - почти единственная пища. Над хлебом все трясемся. Таня по макушку в долгах. Только теперь я понял, чего стоили ей те богатые передачи, что попадали в мои руки. Ни сама она, ни дети ничего подобного в доме не видели - ни белого хлеба, ни твердокопченых колбас, ни полушубков. Все это покупалось только для меня и в долг. Я ужаснулся, когда узнал, о каких суммах долгов идет речь.

Единственный шанс когда-нибудь рассчитаться был в том, чтобы устроиться мне на более или менее приличную работу. Но в моем положении думать об этом было просто смешно. Идти в колхоз? На трудодни-палочки? Я видел, в каком бедственном положении находились колхозники, какие гроши и граммы они получали.

Таня предложила оформиться к ней на сортоучасток помощником. Ее заместительница как раз собиралась уезжать к родным на Украину.

Я засомневался: удобно ли? Не принято как-то у нас

работать в связке с женой. Но предложение выглядело заманчивым. При совместной работе я смог бы во многом разгрузить жену. Ей станет легче, а, следовательно, высвободится время для детей, для дома. Надо попробовать.

На следующий день мы вместе поехали в город. Посетили заместителя председателя облисполкома Кашевского, поблагодарили его за ходатайство. Он принял меня приветливо, но сдержанно. Крупноголовый, неразговорчивый человек с тонкими плотно сжатыми губами. Когда-то он тоже был арестован и просидел в тюрьме больше 15 месяцев. Но он ни словом не обмолвился о 38-м годе. Да и беседа шла у него, в основном, с Таней, не со мной. Со мной он старался выдерживать дистанцию. Но я обратил внимание, что к Тане он обращался с какой-то особой симпатией и теплотой. Я отметил это с ревнивым чувством, старое нехорошее подозрение снова шевельнулось в душе. Прошло всего несколько минут, мы оказались в другом кабинете, и я с удивлением услышал такие же теплые нотки в голосе другого человека. И тут я почувствовал прилив гордости за жену - удивительную женщину, которую везде любят, уважают, выражают сочувствие. Это уже было нечто другое, чем ревность, совсем другое чувство.

В этом втором кабинете, начальника Облзу Халфина, речь шла о моей работе более предметно. Присутствовал инспектор по сортоиспытанию Мельников. Он не раздумывая согласился принять меня на работу с 1 сентября. Как я уже сказал, я был приятно удивлен той симпатией, которой пользовалась у этих людей Таня.

До 1 сентября оставалось три дня, я воспользовался ими, чтобы подтянуть домашние дела. Тем более что у детей заканчивались каникулы. Мы вместе пропололи огород, окучили картофель. Потом готовили ребят к школе: тетради, учебники, школьная форма. Утром 1 сентября проводили детей в школу, а сами направились с Таней в поле.

То, что я увидел там, отнюдь не воодушевляло. Опытные делянки заросли сорняками, огурцы пожелтели, помидоры растрескались, морковь и свекла стояли непрореженные. И это на опытном участке, призванном выявить преимущества одних сортов перед другими! Как разглядеть их, эти преимущества, при небрежной агротехнике, неодинаковом уходе?

Таня объяснила, что катастрофически не хватает людей. По договору с колхозом на сортоучастке ежедневно должны были работать десять человек. На деле колхоз выделяет четыре-пять, а то и троих человек. Мысленно негодуя, я решил переговорить с председателем колхоза Фельдманом.

Я знал его еще до ареста. Он тогда работал бригадиром. Простой в обращении, деятельный. Он встретил меня приветливо, усадил напротив себя, расспросил о ближайших планах. О моем освобождении он уже знал.

- Где думаешь работать? Или отдохнешь на первых порах?

- Некогда отдыхать. Уже работаю. У жены на сортоучастке помощником.

- Помощником у жены? Ну, это не для тебя. Иди ко мне в колхоз бригадиром.

- Поздно. Уже оформился. Но, в конечном счете, на тебя и работаю. Урожай-то тебе идет!

- Так и не так. Урожай - это не все. Мне позарез нужны толковые работники. А ты, наверняка, пришел требовать у меня людей. По наущению своей Татьяны, а? Она ругается со мной каждый день. Но людей у меня нет. Где я их возьму, если нету?

- Куда делись люди в краснознаменном Валдгейме?

- Валдгейм, дорогой мой, давно не тот, что ты помнишь. Мужчины ушли на войну и многие не вернулись. Те, что вернулись, оседают в городе. Пополнения почти нет. Еврейское переселение практически остановилось еще в 38-м

году. Редко-редко залетает кто-нибудь из русских переселенцев. Колхоз давно уже смешанный - еврейско-русский. Но не в этом дело. По мне хоть африканцы. Лишь бы с руками! Некому работать в поле, на ферме, на заготовке кормов. С уборкой справляюсь только благодаря помощи города. А тут еще вы на мою голову!

- Но урожай сортоучастка идет в твой амбар!

- Какой у вас урожай? Крохи! Мне он погоды не делает.

- Слушай! Гниет на корню ранняя капуста, желтеют огурцы, зарастают корнеплоды. Все это твое, не мое. Если ты не в состоянии обеспечить людьми, расторгай с нами договор. Только не сейчас, в конце года. Поверь, мне не хотелось с этого начинать, но я буду вынужден жаловаться на тебя Кашевскому. Я только что был у него на приеме, он обещал мне всяческое содействие. Но, повторяю, я бы не хотел с этого начинать. Давай по-хорошему. Вместе закончим год, а дальше, если мы тебе в тягость, переведемся в другой колхоз. Кстати, ты хоть был на наших делянках?

Я вытащил его на наше поле. В конце концов он сдался, согласился давать не четверых, а как минимум восемь человек. Хотя это и меньше, чем записано в договоре, но я видел, что больше из него мне не выжать. Но и это уже было достижение. Мы более или менее сносно убрали опыты, заложили на хранение 8 сортов картофеля, семенную капусту, разные сорта огурцов, помидоров, давших при испытаниях неплохие результаты.

Наконец, вспахали зябь и принялись за аналитическую работу по обобщению результатов опытов. Это заняло большую часть зимы. Непривычно для меня, просто сказочно было сидеть долгими зимними вечерами с семьей за старым письменным столом. Каждый занимался своим делом: дети - уроками, Таня - отчетами по сортоиспытанию, я - учебой. Я решил за зиму основательно подучиться, освоить методику

опытного дела. За десять лет я сильно поотстал в теории, забыл даже то, что когда-то знал. У меня оказался прекрасный учитель.

Таня за эти годы сильно выросла профессионально, стала крупным, знающим агрономом. У нее светлая голова, великолепная память, она на лету схватывает вопросы, отвечает на них почти не задумываясь. Одновременно заглядывает в тетради к мальчикам, выправляет им ошибки и успевает еще мотаться на кухню, где готовится ужин. Ужин довольно скудный, почти без хлеба, но все же есть картошка, в подполье, в бочках запасы квашеной капусты и соленых огурцов, а из картошки Таня научилась делать немалое количество блюд. Дети, проголодавшись, поглощают все с неизменным аппетитом - едят и похваляют и, кажется, даже не предполагают, что на свете есть много других вкусных вещей, кроме картошки.

Дети для меня теперь - понятие не однозначное. Все они разные, не похожие друг на друга. Старший, Наум, уже ученик пятого класса. Он почему-то белобрысый, светлоголовый, ни на кого из нас не похож. Разве что на Таниных братьев, если судить по фотографиям. У них такой же чуть приплюснутый нос и выпуклые, навывкате, глаза, как у него. Так что гулявшие некогда шуточки насчет того, что маленького Нюсика нам подменили в роддоме, воспринимаются именно как шуточки.

К матери он относится предупредительно, по-мужски, она для него - высший авторитет. Со мной же пока сдержан, насторожен, ему, наверное, горько и стыдно, что его отец - бывший лагерник. Мои рассказы о лагерниках - людях вовсе не бандитского склада - воспринимаются им недоверчиво. В свои мальчишеские тайны он меня не посвящает.

С младшим, учеником третьего класса, мне много легче. Изик как-то сразу поверил, что я не бандит и не враг. Он

безумно рад, что у него объявился живой отец. Радость перевесила в нем и то, что отец этот в чем-то сильно провинился перед народом. Он вообще больше дитя природы, чем отца с матерью: больше любит улицу, чем дом, слушает скорее голос своего маленького сердца, чем наставления взрослых. На него часто жалуются брат и сестра, мать считает его лентяем, раздражается от его непослушания. В самом деле, Изик далеко не пай-мальчик, и все же, когда он трет щекой о мою руку или с состраданием смотрит мне в глаза, слушая рассказ о моих лагерных приключениях, я чувствую, что это частичка меня самого, моя плоть и кровь. Я балую его, часто беру на руки, ласкаю и защищаю...

У дочки, хотя она уже в первом классе, в голове еще куклы. Их у нее, правда, почти нет, только самодельные, из лоскутков и тряпочек. Она рисует палочки в тетради, все время заботится о них; то и дело укладывает своих подопечных спать, кормит, наставляет. Одна из главных моих обязанностей - мирить детей, разбирать их конфликты. Как правило, нарушитель спокойствия - Изик, он задирает старшего брата и не очень уважителен к куклам сестры. Таня с ним не церемонится, у меня получается не очень. Что ни говори, а сказывается десятилетний пробел в родительском образовании.

Штудирую науки. У меня зреют планы перестройки нашей работы. Нельзя допустить, чтобы опытное дело, требующее точности, достоверности, велось в условиях нехватки и запущенности, чтобы делянки зарастали сорняками, а урожай гнил на корню. С одной стороны, разработана и обязательна строгая методика проведения опытов, а с другой, приходится на каждом шагу от нее отступать...

У нас с Таней разгорается спор. Я убеждаю ее, что наше дело должно быть организовано в специализированных опытных хозяйствах, освобожденных от планов поставок, от

заботы об урожае, центнерах и тоннах. Хозяйства должны быть государственными, с фиксированным штатным расписанием сотрудников, с выделяемыми государством фондами и лимитами на удобрения, пестициды, семенной фонд - в строгом соответствии с научными методиками и нормами. Примерно так, как это поставлено в научных лабораториях, исследовательских центрах.

Таня категорически не согласна. Мы не научное учреждение, а опытное хозяйство. Наша задача - испытать сорта не в лаборатории, а в реальных условиях колхозного производства. Опыты должны давать урожай, зарастая сорняками и выгорая под солнцем. Нам важно, конечно, знать их генетические возможности, но потому лишь, что есть лучшие хозяйства и худшие, в самых образцовых из них условия произрастания могут приближаться к идеальным. Может и так, отстаю я, но наш председатель ничего вообще не желает понимать. Для него мы только обуза, ему не нужны ни наши перспективные сорта, ни наши заросшие делянки. Мы ему только мешаем, путаемся под ногами.

В конце концов, мы оба сходимся на том, что следует поискать другое базовое хозяйство. По соседству, на Птичнике, расположен колхоз "Заветы Ильича".

Я отправился туда. Председатель Бакман предстал передо мной полным энергии. У него множество самых разнообразных планов. Мое предложение он принял с восторгом. Как выяснилось, накануне демобилизации он несколько месяцев прослужил в Австрии, в тесном контакте находился с местными властями. Его там очень заинтересовала система обеспечения городов сельскохозяйственной продукцией. Муниципальные власти имели долговременные договоры с пригородными хозяйствами, эти договоры предусматривали множество взаимных льгот, обязательств, стимулирующих и качество, и сроки, и объемы поставок.

Нечто подобное Бакман мечтал внедрить у себя, используя близость к городу. Мы могли бы помочь ему поставить производство на научную основу. Это как раз то, о чем он мечтает. В тот же день мы обошли с ним колхозные поля, наметили участки под наши опыты, а также под ранние овощи, ранний картофель. Я по собственной инициативе предложил ему помощь в закладке парников, вспомнив накопленный в лагере опыт. Самуил (так звали Бакмана), обрадованный таким подарком, чуть не задушил меня в объятиях.

Через несколько дней он собрал правление колхоза и предоставил мне слово. Я обрисовал свою программу, перспективы для колхоза в случае ее осуществления, и правление с энтузиазмом проголосовало за перевод к себе нашего сортоучастка. Без провололок нам был тут же определен колхозный дом с огородом и чуть позже еще один дом, поменьше, под контору...

Не стану описывать всех перипетий утверждения решения в областных инстанциях, скажу только, что оно вовсе не было гладким. Удивительно, какие встречались возражения. Например: "Вы агрономы или коммерсанты? Купцы какие нашлись! Сортоучасток должен испытывать и районировать сорта, а не производить овощи на рынок... При вашей постановке вопроса вы через полгода забудете о том, для чего призваны. Коммерческие цели погубят, поглотят цели научные".

Но, в конце концов, вопрос благополучно разрешился: возобладала здравая точка зрения. В основном, конечно, благодаря Тане: своей мягкой, спокойной дипломатией, логическими доводами, терпением она сглаживала мою излишнюю горячность и догматические возражения чиновников. С началом весны мы уже работали на новом месте.

Я испытывал воодушевление и душевный подъем. За долгие годы несвободы отвык от вольного, по-настоящему творческого труда. Теперь же чувствовал себя раскованным и с радостью отдавался любимому делу. К тому же рядом была опытная наставница - с Таней я чувствовал себя надежно в опытном деле. Мне кажется, мы неплохо дополняли друг друга. Таня прекрасно знала агротехнику, особенности разных сортов, я же с головой ушел в организаторскую работу, которая у меня всегда неплохо получалась.

15. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ

Год получился удачный. Почти все, что было задумано, успешно осуществлялось. Мы, можно сказать, с нуля создали парниковое хозяйство, получили и обучили работающую грамотную бригаду, собрали прекрасный урожай.

Колхоз получил от вас несколько центнеров скороспелого семенного картофеля, семена лучших сортов помидор, огурцов, капусты, корнеплодов, а основной урожай вывез на городской рынок раньше всех других хозяйств.

Новая бригада наша состояла из одиноких женщин - солдатских вдов, нескольких девушек - недавних школьниц, да двух стариков-возчиков. Бригадиром была еврейская женщина Бася Вайнштейн, тоже одинокая. Муж у нее погиб на войне, детей не было, и она с утра до ночи была в поле. Она стала нашей главной опорой. Расставляла людей, выписывала наряды, хлопотала в правлении колхоза о транспорте, удобрениях. Авторитет в бригаде у нее был непререкаемый.

И с другими членами бригады у нас установились прекрасные отношения. Часто бывали друг у друга дома, отмечали свадьбы, дни рождения. Уже в первый год получили неплохую оплату на трудовые, и не только урожаем, но также деньгами. В бригаде дорожили своей работой и крепко держались за нее.

В следующем году мы еще больше закрепили свой успех. Раскорчевали новый участок земли в 100 гектар неподалеку

от поселка и запахали его. Там мы впервые на Дальнем Востоке попробовали выращивать южные теплолюбивые культуры: арбузы, дыни, перец, баклажаны. Результат превзошел все ожидания. Южане-новоселы не только выстояли в здешнем климате, но и дали невиданный урожай. Мы отобрали лучшие сорта для районирования.

В 1948 году о нас заговорили. Появились статьи в областной газете "Биробиджанская правда", в краевой "Тихоокеанской звезде", прошла радиопередача. Таню, как заведующую, Басю Вайнштейн, всю бригаду расхваливали, поднимали на щит - преподносили в эфире, как талантливых овощеводов, новаторов, борцов с рутинной. Особенно, конечно, много писали и говорили о Тане - ее буквально прославляли. Скоро местное издательство выпустило большим тиражом брошюру "Опыт передовых овощеводов", на титульном листе которой значились наши с ней фамилии. Конечно, брошюру писала Таня, у нее ко всему прочему оказался еще и литературный дар, как уверяли издатели. Но она настояла, чтобы мое имя стояло рядом с ее. В течение короткого времени вышло у нее еще несколько брошюр об отдельных культурах: луке, томатах, картофеле.

Приехал к нам в поле, и затем чуть ли не ежемесячно принял за правило наведываться секретарь обкома Симонов. Видимо, с его подачи нас стали приглашать на различные совещания, усаживать в президиумы, просили выступать с лекциями. Все это, в конце концов, организационно оформилось в школу овощеводов, которая действовала в областном центре всю зиму 48-49-го годов и на которую съезжались люди со всего края.

Материально мы тоже стали жить заметно лучше. Еще в июле 47-го я выкопал на своем огороде полсотни мешков скороспелого картофеля, который вывез в город на рынок. На вырученные деньги мы купили корову, поросенка,

расплатились с Таниными долгами. Дети и мы сами приоделись, стали лучше питаться. Было много приятного и помимо работы: летом мы часто купались в Бире или на озере, которое называлось "Четыре столбика", дети лакомились арбузами, собирали дикий виноград, орехи. Я много читал, вообще - мы были на подъеме: веселы, здоровы, бодры. Жить бы да радоваться.

Но радости не было. Другая, тайная жизнь, о которой никто из близких не догадывался, отравляла мне дни. Раз в месяц, в заранее условленный день и час, я должен был являться, куда мне было приказано, с информацией. Я всегда терзался, когда приближался такой день встречи.

Первоначально, при первом разговоре, полковник обещал дать мне время на устройство и не дергать понапрасну. Но перед уходом из лагеря, когда вручал адреса явок, неожиданно приказал явиться на одну из них уже через месяц. Так что даже короткого периода без раздвоенности, внутреннего разлада, не получилось: с первого дня освобождения я жил придавленный страхом и терзаниями. Предстоящая встреча камнем лежала на сердце, я ни на минуту не мог забыть о том, что меня ожидает.

В указанный день после обеда я отправился в город, якобы, в библиотеку, для обмена книг. Явился по указанному мне адресу. Это оказалась частная квартира. Дверь открыл уже знакомый мне полковник, тот самый - тучный, багроволицый, с выпуклыми напряженными глазами. Как выяснилось, фамилия у него была еврейская. Но манерами, речью, поведением он ничем не отличался от уже известных мне службистов МГБ. Такой же самоуверенный, не терпящий возражений, с пронизывающим взглядом и в то же время вкрадчивыми осторожными кошачьими движениями. Встретил он меня вежливо, с улыбкой, пригласил сесть:

- Ну, как дела? Как дома? Устроились на работу?

- Устроился. К жене на сортоучасток, в Валдгейме. Буду у нее помощником.

- Ничего, что в одной организации? Не боитесь неприятностей?

- Но ведь мы никакими финансовыми, материальными зависимостями не связаны, только работой. В чем нас можно обвинить?

- Ну, дай бог. А сколько будете получать?

- 600 рублей. Оклад жены - 900.

- Не густо.

- Ничего, спасибо и за это. Устроиться было нелегко.

- А кто вам помог? Ведь у вас нет агрономического образования?

- Жена. Она давно работает, имеет определенный авторитет в агрономических кругах. К ее просьбе прислушались. В конце концов, за дело будет по-прежнему отвечать она, а кто у нее в помощниках, не столь важно.

- Так, понятно. Вы уже успели где-нибудь побывать?

- В городе, когда оформлялся на работу. Все остальное время провел в Валдгейме.

- С кем виделись из старых знакомых?

- Ни с кем. Разве что с председателем колхоза Фельдманом... У нас с ним общие заботы по уборке урожая. Людей нет, урожай пропадает. Должен вам прямо сказать, товарищ...

- Называйте меня просто: Илья Семенович.

- Хорошо. Хочу прямо сказать, что на визиты сейчас совершенно нет времени. Вряд ли кого увижу до конца уборки. Не справимся с ней до холодов, сами понимаете...

Он задумался на несколько секунд.

- Хорошо, с вами здесь можно согласиться. Давайте договоримся: следующую октябрьскую встречу пропустим. Жду вас в конце ноября. Но к тому времени вам необходимо в обязательном порядке встретиться со знакомыми в городе.

Это даже невежливо с вашей стороны, - улыбнулся он, - не навещать друзей после продолжительного отсутствия.

Поздно вечером я вернулся домой. Все уже спали. Я вышел на крыльцо, закурил и долго стоял в раздумье. Это неплохо, что в течение двух месяцев я свободен от встреч и могу спокойно заниматься своими делами. Но что же дальше? Нет сомнения, что полковник намеревается через меня выявить враждебно настроенных к власти людей. Я, как и все мои знакомые, пусть даже очень-очень давние, для него по-прежнему подозрительные, ненадежные люди. Я должен вести себя очень осторожно. Одно необдуманное, неудачно сказанное мной слово, и невинные люди могут пострадать. Лучше всего вообще ни с кем не встречаться. Но как быть с полковником? Вряд ли он теперь отступится от меня. Придется все время что-то придумывать, выкручиваться. Надолго ли меня хватит?

В конце ноября, на второй нашей встрече, я объявил полковнику, что, как удалось выяснить, почти никого из моих старых знакомых в Биробиджане не осталось. Во всяком случае, мне никого не удалось найти. Несколько человек живут в Хабаровске, другие погибли в лагерях или на фронте. В Хабаровске же мне побывать пока не пришлось.

- Может быть, есть кто-нибудь, кто сидел с вами в лагерях или еще раньше встречался в Палестине?

- В 38-м году в камере я видел Кашевского. Сейчас он первый заместитель председателя облисполкома. В 39-м году его выпустили.

- А из палестинских друзей кто остался?

- Из близких - никого.

- А редактора еврейской газеты "Биробиджанен штерн" Фридмана вы знаете?

- Я хорошо знал редактора Казакевича, Фридман был при нем секретарем редакции. Я, конечно, был с ним знаком, но не больше того.

- С кем же вы виделись за эти два месяца?

- Виделся с Кашевским в облисполкоме. Мы с женой были у него на приеме по делам сортоучастка. Со мной он был сух, насторожен, никаких откровений по поводу 38-го года не допускал. Говорил он, главным образом, с женой, я при сем только присутствовал. Вряд ли он испытывает желание в дальнейшем встречаться со мной, тем более откровенничать.

- Так, понятно. Все же ваша главная задача остается прежней: встречаться и по возможности восстанавливать прежние доверительные отношения. Не возбраняется и заводить новых друзей. Делайте это естественно, не спеша...

При следующих встречах полковник требовал, чтобы я встречался то с одним, то с другим человеком. В своих сообщениях потом я докладывал, что, как правило, мои старые знакомые относятся ко мне настороженно. При встречах они расспрашивают меня о жене, о детях, о работе, но в гости к себе не приглашают. Все мои попытки сблизиться и подружиться ни к чему не приводят.

Надо признаться, что я при этом не слишком кривил душой. Я видел, что никто из моих знакомых не забыл страшные 37-й и 38-й годы. Встретив недавнего "врага народа", многие испытывали страх: как бы кто не донес, не истолковал встречу предвзято. Гораздо надежней было держаться от такого подальше. И уж, во всяком случае, не распускать язык. Полковник, как видно, поверил мне и смирился. Я перестал ездить в город с визитами. Возможно, за мной установили слежку и убедились, что я говорю правду. Во всяком случае, с весны 47-го года мне больше не давали прежних заданий.

Полковник расспрашивал теперь о настроениях в нашей среде - там, где мы повседневно общались. Я рассказывал о наших трудностях, настроениях колхозников, равнодушии и бюрократизме аппарата, хищениях и тому подобном. Он

выслушивал меня хмурясь - больше его интересовали, конечно, политические высказывания. Но я объяснил, что все разговоры простых людей ведутся о насущных конкретных делах. Политически мои знакомые гордятся великой Победой над фашизмом. Горячо поддерживают партию и правительство. Восторгаются и славят великого Сталина. Враждебно относятся к бывшим союзникам. Ничего другого от них я не слышал...

Зимой 47-го года полковник поручил мне поехать на краевую опытную станцию, где директором была Щупак Клара Давидовна, старая знакомая моя и Тани. В 38-м году она была арестована, но в 39-м освобождена. Полковника интересовали ее нынешние высказывания и настроения. Она меня радостно, сердечно встретила, ознакомила с опытами, рассказала о планах. Когда-то, еще до ареста, я слушал ее лекции, она уже тогда была крупным ученым специалистом. Сейчас она была кандидатом наук, имела ряд научных работ по овощеводству.

Вечером у нее дома мы поужинали, вспомнили прошлое, 38-й год. Были слезы, проклятия, одинокая женщина, может быть, впервые за много лет с полной откровенностью высказала то, что она думает о вожде, о системе, об органах и о всем подлом проклятом времени, в котором живем...

По возвращении я доложил полковнику, что арест 38-го года у нее давно изгладился из памяти, пережитое в тюрьме забылось. Великая Победа и успешная научная работа сделали ее вполне счастливой. Товарищ Сталин для нее - великий человек, спасший от гибели не только Советский Союз, но и еврейский народ, обреченный на уничтожение. Полковник остался вполне доволен.

Когда летом 48-го о нас заговорили в области, полковник приехал ко мне в поле. Я провел его по делянкам и показал опыты. Все было аккуратно, чисто прополото, на каждой

делянке имелась табличка с названием культуры, сорта. Шла уборка ранних сортов капусты, картофеля, женщины прореживали морковь, ошипывали зеленый лук на перо. Гость осматривал поле с большим интересом. Нахваливал меня. Уезжая, он высказал предложение встречаться в дальнейшем здесь, а не в городе. На том и порешили. Перед этим он еще спросил, кто бывает у нас на участке? Я перечислил: начиная с весны, к нам приезжали многие чины, начиная от секретаря обкома и председателя исполкома и кончая журналистами, писателями, специалистами.

- Это замечательно! - заулыбался он. - Очень неплохо нам знать, как настроена интеллигенция. Еврейская интеллигенция! - повторил со значением, подняв палец.

И в следующий раз я ему докладывал: - Еврейская интеллигенция еще под страшным впечатлением трагедии войны. Все думают и продолжают говорить об Освенциме, Бабьем Яре. Писатели и журналисты Биробиджана тоже пишут об этом. Они мечтают создать Музей Памяти жертв фашизма, восстановить в Биробиджане еврейский театр. Те, кто приезжает сюда, на примере наших колхозников мечтают создать произведения социалистического реализма о евреях-тружениках.

- А как воспринято известие о создании государства Израиль? - поморщился он.

- По разному. Многие рады, что создано независимое еврейское государство и что Советский Союз первым признал его. Но часть, особенно ветеранов, первых переселенцев, не покидает чувство горечи и досады оттого, что не Биробиджан и не СССР, а другая страна становится центром еврейского притяжения. Не прекратись перед войной наше переселенческое движение, здесь было бы уже не меньше полумиллиона евреев, и, возможно, сотни тысяч их избежали бы газовых камер.

- Наверное, многие уже строят планы переезда в страну обетованную?

- Не слышал. Не думаю.

- Разве вы сами, бывший палестинец, не хотели бы вернуться? - в его вопросе я почувствовал недоверие, но ответил твердо, что нет.

О возвращении я не думал и в худшие годы, в тюрьме и лагере. Мало радости я видел в Палестине... В памяти остались толпы арабских рабочих, работающих за бесценок у еврейских апельсиновых плантаторов. В Палестине жили тогда два миллиона арабов, а евреев было всего 160 тысяч. Я не верил, что эти 160 тысяч смогут когда-нибудь создать свое независимое государство. Идея создания Еврейской республики в СССР казалась мне намного реальнее, чем планы сионистов. На деле же вышло, что в маленьком Израиле живет сейчас 650 тысяч евреев, а в Биробиджане - не более 10-15 тысяч. Моя "перспективная" идея оказалась фикцией.

Полковник уехал, а через некоторое время к нам в Валдгейм приехали еврейский певец Александров и писатель Нистер сопровождении редактора местной газеты Фридмана. Они познакомились с нашими опытами, остались очень довольны всем увиденным. Когда зашел разговор об Израиле, Нистер высказался в том духе, что пусть они там устраиваются так, как им нравится, мы же здесь будем жить по своим принципам. Он сказал тогда: "У них - свое, у нас - свое. Они там, а мы тут!".

Полковник очень интересовался гостями, расспрашивал обо всех деталях посещения. Когда я проинформировал его, передав, в частности, и этот нейтральный, по моему мнению, разговор, он попросил изложить его письменно. Когда я это сделал, он посмотрел на меня внимательно и сказал:

- Впервые за три года я получил от вас важный политический материал!

В тот момент я не придавал особого значения этим словам. Мы с ним с удовольствием обошли участок. Уборка была в полном разгаре, созрели бахчевые, помидоры. Я угостил его арбузом. Сочный сахарный плод восхитил его, он признался, что никогда не предполагал на дальневосточной земле ничего подобного. Он был в приподнятом настроении, прощаясь, пообещал мне, что до конца года не будет больше беспокоить меня, я могу спокойно заниматься своими делами.

Он уехал, а я в благостном приподнятом настроении вернулся домой. На душе было на редкость спокойно и умиротворенно, как не было давно. Мне казалось, что я близок к тому, что зовется счастьем: у меня интересная значительная работа, серьезные достижения в ней, здоровая семья, меня ценит руководство. Даже полковник явно благоволил теперь ко мне. Я уже мечтал втайне и о снятии судимости, и о самостоятельном крупном назначении, и - чем черт не шутит - о восстановлении в партии.

И вдруг я вспомнил похвалу полковника. Что такое важное он получил от меня? Что я сказал ему такое, что привело его в восторг? "У них свое, у нас - свое..." Я имел в виду, что они там строят свое государство, мы же здесь строим свою национальную автономию, каждый по-своему. "Они там, а мы тут!" Ну, правильно, мы и они - евреи, но давайте посмотрим, кто из нас лучше устроит свое национальное гнездо. А он явно понял в другом смысле - в том, что мы с ними здесь вступили в некий сговор: будем действовать заодно.

Какой вздор! Ничего подобного у меня и в мыслях не было. Но то, что мы и они - единый народ, это ведь факт. Нас объединяет общий язык, история, культура. Истоки нашей советско-еврейской культуры те же, что и в Израиле. А с точки зрения Сталина, в этом заключается величайшая ересь. НЕ должно быть ничего общего между евреями СССР и

живущими в других странах. У нас социализм, у них власть капитала - люди находятся на разных полюсах борьбы. По Сталину, согласно его теории, евреи вообще не нация, поскольку у них нет единой территории, общей экономики. А приведенные разговоры - явные свидетельства националистических сионистских настроений среди интеллигенции. Такой вывод, скорее всего, делал из моего сообщения полковник. Я клял себя за болтливость, искал с ним встречи, чтобы объясниться.

Через несколько дней мы с женой поехали в город на концерт Александра. Зал был переполнен, Александру аплодировали, без конца вызывали "на бис". В первых рядах я увидел полковника и обрадовался. Он тоже был в восторженном настроении: неистово бил в ладоши, кричал, сложив рупором руки у рта. Александр пел и современные и старинные еврейские песни. Эти песни поют евреи во всех странах мира, у нас их подзабыли, но тем более рады были сейчас услышать. Что это я? Каким нужно быть лицемером, чтобы так восторженно бить в ладоши и одновременно преследовать за любое проявление симпатий, добрых чувств, просто интереса к евреям другой страны! Что это я вбил себе в голову? Ничего подобного нет и в помине. Вон какая искренняя радость на лице полковника. Думая так, я постепенно успокоился, перестал терзать себя.

16. НАЗАД В ТЮРЬМУ!

Весной 1949 года неожиданно заболел председатель колхоза Бакман. Заболел он тяжело, сказала давняя фронтовая контузия, и, судя по всему, надолго. На его место прислали из области другого председателя, Водовозова, тоже демобилизованного офицера. Мы, конечно, не были в большом восторге. С Бакманом успели отлично сработаться, он мог по праву считаться соавтором наших успехов. Мы хорошо узнали друг друга за три года, а с новым - кто знает, как пойдет дело? Но нас никто не спрашивал, приходилось мириться.

Мы познакомились с новым председателем. Как будто спокойный неглупый человек, довольно дружелюбно нас встретил. Пообещал, как это было и прежде, оказывать всемерную помощь. Очевидно, он уже получил информацию о нас и понимал, что от сортоучастка колхозу только польза. Мы продолжали спокойно делать свое дело.

Еще с Бакманом мы расширили парниковое хозяйство, построили теплицу, картофелехранилище. Вывезли на поле много навоза и перегноя, распахали и прирезали к участку новый целинный клин. Теперь у нас были не только опытные, но и настоящие плантации арбузов, дынь, перца, баклажан - невиданных и диковинных для здешних мест культур.

По просьбе краевых властей мы занялись также луком - крайне дефицитной культуре в крае. На только что поднятой целинной земле результат получился необыкновенный: луковицы вызревали весом по 300-500 граммов, сладкие, сочные.

Летом колхоз выбросил на рынок столько продукции, что город был не в состоянии ее проглотить. Стали отправлять в Хабаровск, Благовещенск, Владивосток, Комсомольск вагоны с луком, арбузами, помидорами. Командовал всей этой коммерцией новый председатель колхоза Водовозов. С вагонами он обычно отправлял кладовщика или бухгалтера, а им в помощь придавал какую-нибудь колхозницу. Мы в это делоне вмешивались. Сдавали продукцию колхозу, а дальше — не наше дело.

Но вот пошла молва, что кладовщик и бухгалтер присваивают львиную часть доходов. Молва ширилась, обрастала подробностями. Женщины-колхозницы, сопровождавшие вагоны, рассказали, что бухгалтер с кладовщиком составляют фальшивые акты о гибели овощей в пути. На этом, в основном, и наживаются. Я поставил в известность Водовозова. Тот хмуро выслушал меня, выругался в адрес расхитителей, пообещал разобраться.

Через несколько дней он, действительно, созвал правление колхоза, на которое пригласил и меня. Здесь он сообщил, что тщательно проверил поступившие сигналы и убедился, что на кладовщика и бухгалтера клеветают. Документы подлинные, все подписаны базаркомом. Потери, действительно, имеют место.

Я возразил, что подпись базаркома еще ничего не значит, так как, по информации сопровождавших вагоны колхозниц, кладовщик Емельянов пьянствовал с членами базаркома в Комсомольске и Хабаровске, а бухгалтер приехала обвешанная золотыми украшениями и дорогими мехами.

Водовозов неожиданно взвинтился, оборвал меня, и вдруг вместо уравновешенного спокойного человека я увидел злобой перекошенное лицо. Мелькнула мысль, что, может быть, он заодно с ними! В дальнейшем это подозрение еще больше укрепилось. Становилось ясно, что мы имеем дело с

шайкой воров, расхищающих народное добро. Акты, представлявшие о гибели 30-40, а то и 50-ти процентов овощей в пути, были наверняка липой. Может быть, и правда, что мотивы, по которым их выдали колхозницы, были не совсем бескорыстными: с ними отказались поделиться, но не верить этим женщинам не было оснований.

Я предложил не посылать больше скомпрометировавших себя кладовщика и бухгалтера. Но Водовозов отмахнулся от меня.

Компания продолжала действовать. Дома Таня убеждала меня отступить, не связываться с ними. Только наживаю себе врагов, говорила она, И была, конечно, права. Но мне было жаль нашего урожая, и я поставил в Райзо вопрос о ревизии. По моему настоянию послали с вагонами ревизора и оказалось, что гниль составляет в пути 8-10 процентов. В общем, дело ясное, всю шайку во главе с Водовозовым требовалось немедленно отдать под суд. Но оказалось, что Водовозов член партии, бывший капитан внутренних войск, его знают и поддерживают в горькоме, в НКВД. Мне же, бывшему зеку, веры нет. Водовозову объявили выговор, тем дело и кончилось. Мне пришлось замолчать.

Я тяжело переживал эту историю. Отравляла сознание мысль, что мерзкие жулики обкрадывали нашу бригаду, других колхозников, расхищали с таким трудом добытый урожай. Впоследствии бухгалтера и кладовщика все же осудили за какую-то аферу. Но Водовозов продолжал безнаказанно творить свои делишки.

Видимо, под его влиянием изменилось и отношение ко мне со стороны ГПУ. Полковник куда-то пропал, а моим шефом стал другой, - штатский, подозрительный и надменный. Но о нем дальше.

В стране снова происходили тревожные события, они оттеснили на задний план Водовозова. Пришло известие о

гибели Михоэlsa, замечательного еврейского актера. Официально было объявлено, что он попал в автомобильную катастрофу, но между собой тайно шептались, что он убит. Волна за волной накатывались валы другой угрожающей информации: в Москве закрыты еврейские театры, библиотеки, клубы, арестованы видные еврейские деятели. Душа снова наполнилась страхом: неужели возвращается 37-й год? Только теперь в откровенно антисемитском варианте?

В последующие дни мы узнали, что непосредственной причиной репрессий явилась восторженная встреча населением в Москве посла Израиля - Голды Меир. Неслыханная наглость! Что из того, что советское государство первым признало новое государство? Оно сделало это из политических соображений. Отсюда вовсе не следует, что евреи в Советском Союзе могут выражать ему свои симпатии, тем более предлагать себя для его защиты. Группа молодых летчиков еврейской национальности, как передавали, обратилась к Советскому правительству с просьбой послать их добровольцами на Ближний Восток. Испанию вспомнили! Но ведь тут другое: сионизм - космополитизм. Тут предательством пахнет! Ату их, безродных антипатриотов!

Многие евреи, как и люди других национальных меньшинств, не желали растворяться в русской среде, как это полагалось по теории Сталина. Они не желали рвать свои исторические корни. Как ни странно, это касалось не только старшего поколения, но и молодежи, и даже в первую очередь молодежи, казалось бы, не очень знакомой с древней еврейской культурой и языком. Видимо, существует какой-то инстинкт нации: люди, рассеянные по всему миру, жаждали оставаться теми, кем родились. Их волновали обряды, которых они никогда не видели, звуки музыки, не звучавшие в их краях. Основа нации - не только территория, но и история, память. К этим мыслям я пришел не сразу, раньше я думал несколько иначе.

Я верил, например, что возможна еврейская республика в Биробиджане. Теперь я узнал, что в разное время появлялись и другие проекты заселения земель евреями: в Уганде, Австралии, в Южной Америке. Все они провалились. И Биробиджан провалился, в частности, потому, что местность эта ни о чем не говорила уму и сердцу еврея. Для большинства она - не более как далекая приграничная тайга. Нужны поколения устоявшейся жизни, могилы предков, рожденные на новой земле новые песни, чтобы приграничная территория стала родной землей.

Акция гонения евреев развернулась по всей стране. Арестовали еврейских деятелей не только в Москве, но и в Киеве, Минске, Ленинграде. Докатилась эта волна и до нас. Как я уже говорил, мой полковник исчез из моего поля зрения. Вполне вероятно, что он не годился для выполнения новых задач и поэтому его отстранили. Вскоре я узнал, что арестованы Вассерман и Фридман из редакции еврейской газеты "Биробиджанер штерн". В конце сентября, в самый разгар уборки, новый мой шеф из ГПУ дал мне задание. В Биробиджан приехал какой-то важный еврей-иностранец. Его интересует положение евреев в Биробиджане. Мне велено явиться к нему в гостиницу и рассказать о своей жизни и работе.

Это оказался высокий молодой человек, с виду ничуть не похожий на иностранца. Говорил он почему-то по-русски, еврейского языка, похоже, не знал вовсе. Да и акцента какого-нибудь иностранного я не заметил. И после нескольких минут разговора у меня мелькнула мысль: не имею ли я дело с сотрудником ГПУ? В своих вопросах он все время возвращался к моему прошлому, пытался выявить мои нынешние взгляды. Наши сегодняшние заботы, виды на урожай, трудности и успехи - интересовали его явно меньше. Я подумал, что он задался целью спровоцировать меня, и стал

уклоняться от навязываемой им темы разговора. Поведая о благополучной домашней жизни, о затворническом образе жизни, я, кажется, окончательно разочаровал его.

Но и сам вернулся домой в подавленном состоянии. Долго лежал с головной болью, вспоминая встречу. До чего я дожил? С кем сотрудничаю? По существу, я такой же провокатор, как этот гепэушник. Нет, не такой, много хуже. Он, возможно, даже гордится своим занятием, искренне убежденный, что имеет дело с врагом. Отсюда ясность его установки, непререкаемость полученного приказа. У него не дрогнет рука в нужный момент,

Но я-то, я? Ведь прекрасно знаю, на какие мерзости способны эти подручные тирана, и тем не менее работаю на них. Надеюсь, что в благодарность с меня снимут проклятое клеймо арестанта? Рассчитываю еще на какую-нибудь милость? Наивный человек! Такими посулами всегда вербовали провокаторов. И - после тюрьмы, лагерей, испытаний и тягот кончаю обыкновенным доносчиком. Все, кого я вольно или невольно предаю, дети мои и внуки, станут в будущем презирать меня за это. Да я и сам себе этого не прошу!

И я решил порвать с ГПУ. На вызовы не являлся. Сказывался то больным, то занятым на уборке! Решил про себя: будь что будет!

В середине октября я поехал по каким-то делам в город и неожиданно столкнулся на улице со своим шефом. Он меня окликнул и, остановив, строго спросил, почему я не являюсь. При этом он крепко держал меня за локоть. Я помедлил несколько секунд, затем коротко отрезал: "Уборка, некогда!" - и дернул к себе руку. Удаляясь, я спиной чувствовал на себе его взгляд. Конечно, взгляд этот не предвещал мне ничего хорошего в будущем, но я не оглянулся.

Последующие несколько дней, казалось, опровергали мои

тревожные предчувствия. Приехали из Хабаровска сразу три работника Крайзу. Они осмотрели наши поля и амбары, но с особым интересом - заготовленные нами семена: сортового картофеля, помидоров, лука, бахчевых. Нам было объявлено, что принято решение создать здесь, на базе сортоучастка, краевой семеноводческий питомник. Весть необычайно обрадовал меня, так как была исполнением многолетней моей мечты. Значит, не даром мы напряженно трудились последние годы. Теперь наша работа оставит заметный след в жизни всего края. Я повеселел, с еще большей энергией занялся завершением полевых работ.

Уборку мы завершили во время.

4-го ноября ночью мы проснулись от громкого стука в дверь. Я сразу понял, что это за мной. Мне велели одеться. Произвели обыск. Жена и старший сын растерянно смотрели на происходящее. Младшие спали. В последний момент Таня засуетилась, стала собирать узелок с продуктами и вещами. Когда мы прощались, меня поразило выражение ее лица: оно было без кровинки. Глаза сухие, но в них было такое отчаяние, такая безнадежность, что я испугался за нее. Усаживаясь в "воронок", я оглянулся: закусив руку, чтобы не зареветь, она держалась за косяк двери. Рядом, набычась, потрясенно смотрел на отца-преступника мой старший сын - семи-классник.

17. В КРУГЕ ВТОРОМ

В одиночную камеру биробиджанской тюрьмы на этот раз я ступил с облегчением. С моих плеч как бы свалилась тяжесть, давившая на протяжении трех последних лет. Захлопнулась за спиной стальная дверь, щелкнул замок, но я испытал чувство, будто вырвался на волю. Тесная каморка тюрьмы показалась мне достаточно просторной, а затхлый воздух - вполне терпимым. Вот где довелось обрести долгожданную свободу!

Я деловито осмотрелся, прислушался к ночной тишине. Тюрьма сонно и неясно вздыхала. Можно прилечь, вытянуться на нарах. Наконец-то я - независимый человек, могу делать, что хочу. Я был уверен, что смогу встретить испытания спокойно, не склоню головы перед тюремщиками.

Дня через три меня повели к следователю. Знакомый пустынный коридор второго этажа, остановились у крайней двери в конце коридора. Конвоир сдал меня хозяину кабинета и молча удалился.

Передо мной сидел молодой, незнакомый капитан в очках. Он листал, как я вскоре догадался, мое старое арестантское дело, тощую папку с тесемками.

- Садитесь сюда! - строго указал он мне на табурет посреди комнаты. Медленно заполнил мой формуляр, записал в него биографические данные. После этого еще несколько минут задумчиво листал мое досье, шелестя страничками. Наконец, подал голос:

- Вас арестовали за контрреволюционную деятельность. Вы не впервые арестовываетесь и знаете, видимо, что юлить, изворачиваться бесполезно. Лишняя трата времени. Советую выложить без обиняков: с кем были связаны, какие контрреволюционные задания выполняли?

Прием был знакомый, и я насмешливо посмотрел на него:

- Странно слышать, гражданин следователь. Я старый арестант, а вы говорите со мной, как с младенцем. Вы задержали меня и обязаны сами предъявить обвинение.

- Не беспокойтесь, предъявим в свое время. Я просто напоминаю, что чистосердечным признанием вы можете облегчить свою судьбу.

- Признанием? В чем?... Три года вы следили за каждым моим шагом. Вам известно обо мне все: где бывал, с кем встречался. В чем еще я должен теперь признаваться?

- Предлагаю перестать юлить. Мы, действительно, имели возможность убедиться, что за три года вы ни разу, в сущности, не говорили нам правды. Все время хитрили, изворачивались. А между тем, ваши дружки под вашим прикрытием творили контрреволюционные дела.

- Опять собираетесь вешать липу, как в 38-ом?

- Ничуть. Вот здесь, в вашем деле, черным по белому написано, что вы приехали в СССР со шпионским заданием. Сами тогда же в этом признались.

Я с изумлением посмотрел на него. Меня пронзила мысль, что мой палач и следователь Нуждин мог восстановить разорванные мной экземпляры допроса, а подпись мою элементарно подделать. Ведь дело рассматривалось не судом, а Особым совещанием, заочно. Ему нечего было опасаться!

- Это фальшивка! Протокол составлен и подписан самим следователем. Предъявите мне мою подпись для освидетельствования. Я требую экспертизы!

- Ну, я не собираюсь ревизовать ваше старое дело. В конце

концов, оно меня интересует лишь постольку, поскольку проясняет ваше сегодняшнее контрреволюционное лицо.

- Вот что! - решительно заявил я. - Я требую, чтобы вы зафиксировали мое заявление. Протокол допроса 38-го года, якобы подписанный мной - подлог. В нем все от начала до конца сочинено следователем. Если вы не отразите в протоколе это мое заявление, я вам его, во-первых, не подпишу, а, во-вторых, перестану отвечать на ваши дальнейшие вопросы.

- Не перестанете. Не таких обламывали.

- Ах, так? Примените "физическое воздействие?" Как в добрые старые времена? Ну, так знайте же: больше вы не услышите от меня ни слова.

Кажется, угроза подействовала. Следователь вынужден был уступить моим требованиям. В протоколе появилось мое заявление, я его старательно выправил.

Вообще, надо сказать, что следствие 49-го года сильно отличалось от довоенных методов. Меня не избивали, не морили голодом, как в 38-м. Я вел себя более независимо, не позволял следователю издеваться над собой. И он вскоре изменил тактику: стал действовать не столь агрессивно-прямолинейно.

Как-то я сидел в холодной камере, закутавшись в пальто, пытаюсь вздремнуть после очередного допроса. Вдруг донесся поскрипывающий голос радиодиктора. Где-то включили репродуктор, а, может, на короткий миг распахнули дверь комнаты, в которой звучало радио:

- Вы прослушали выступление агронома Мостковой... Ее муж оказался врагом народа. Осознав, что он занимался контрреволюционной деятельностью, она заявила, что отказывается от него... - Голос запнулся и оборвался так же внезапно, как возник. "Таня?!"

Я вскочил в смятении, замер посреди камеры. Но, как ни

напрягал слух, больше ничего не услышал. Таня выступила с заявлением - неужели я не ослышался? Она это могла сделать ради детей, ее могли к этому принудить. Я не смел ее обвинять, но оправдывать было тоже выше моих сил. Всю ночь я вышагивал по камере и гадал, почему она так поступила? А когда, задремав под утро, вдруг резко проснулся, то осознал, что я в тюрьме, где не может быть никакого радио, и, следовательно, все - инсценировка, дело рук тюремщиков. Видимо, они решили подобным образом воздействовать на мою психику.

Как раз в эти дни следователь предъявил мне обвинение о связи с арестованными деятелями культуры Биробиджана. Он не мог привести никаких порочащих меня фактов, я категорически отвергал обвинения, и вот, чтобы ослабить мое сопротивление, он, скорее всего, и придумал этот фокус с радиозаявлением.

Впоследствии я узнал от жены, что ее вызывал к себе секретарь обкома Симонов, который вел речь о том же:

- Ваш муж приехал в СССР со шпионскими подрывными целями. Его изобличают недавно арестованные сообщники. Не губите же свою жизнь и жизнь детей. Откажитесь от него! Сделайте это публично, где-нибудь на агрономическом совещании. Я убежден, что вы - наш, советский человек. Мы вам верим. Важно, чтобы вам поверили и ваши коллеги.

- Но я знаю его много лет, - робко возражала она. - Он всегда работал самозабвенно, отдавал всего себя делу. Вы бывали у нас, видели...

- Да, видел! Но это ваши успехи, не его. Для него работа на сортоучастке служила лишь ширмой, прикрытием подлой контрреволюционной деятельности. Вас мы знаем, высоко ценим. Есть намерение назначить вас директором областной селекционной станции. Скажу больше: ваша кандидатура рассматривается на выдвижение в Верховный Совет

республики, вы подходите для этого по всем параметрам. При одном условии, разумеется: что вас не будет марать тень вашего бывшего мужа-шпиона. Вы должны заявить об этом твердо, определенно.

- Но он отец моих детей. Когда-нибудь они вырастут и захотят узнать правду. Я не знаю о нем ничего плохого.

- Значит, ему, врагу народа, вы верите, а мне, нашей партии, нет?

- Клеветать на мужа не смею. Что хотите, делайте...

- Вон отсюда, вражина! - неожиданно взбеленился он. - Ты, видимо, такая же шпионка, как и он. Тебе тоже не терпится оказаться в каталажке. Скоро я тебе доставлю это удовольствие.

Таня ушла от него напуганная, полная тревоги. Страшно было за себя, за детей. Ясно, что в Биробиджане ей оставаться больше было нельзя. Она помчалась в Хабаровск. Ее хорошо знали там, в краевом сельхозуправлении. Кто-то вспомнил, что требуется заведующий опытным участком закрытого грунта в пригородном совхозе. Позвонили директору. Тот был рад заполучить известного на весь край овощевода. Он направил в Биробиджан специального человека, который зафрахтовал товарный вагон, помог упаковать и загрузить в вагон вещи, мебель, картофель - весь нехитрый ее скарб. Так моя семья переехала в Хабаровск.

Меня в Биробиджане тоже продержали недолго. Следствие явно застопорилось. Обвинение в свой адрес я решительно отверг, к тому же все время буйствовал, требовал очных ставок. В конце декабря меня тоже решили сбавить в Хабаровск - думаю, следователю я просто надоел и он во мне, так сказать, разочаровался. Состряпать на меня, тертого лагерника, что-нибудь связное этому очкарику оказалось не по зубам.

В Хабаровской тюрьме я продолжал протестовать: стучал

в дверь камеры, требовал начальства - пока не оказался в карцере. Там меня продержали десять суток.

В первый день я пытался снова буйнить, но здесь мой голос оказался гласом вопиющего в пустыне. Никто на крики мои не реагировал. Даже надзиратели не огрызались и не сыпали угрозами. К вечеру я потерял силы и замолк. Конечно, глупо с моей стороны было на что-то надеяться. Я свалился на бетонный пол и уснул. Обо мне окончательно забыли.

К концу карцерного срока я совсем ослаб, лежал на полу бессловесный, обессиленный. Но едва оказался в общей камере, получил свой хлеб и баланду, как опять принялся за старое. Надзиратель беззлобно предупредил меня, что если я немедленно не прекращу, то снова окажусь в карцере. Но гораздо в большей степени подействовала на меня реакция обитателей камеры. Кто иронически, а кто враждебно отозвались: "Скажите, какой праведник! Он один среди нас честный человек, остальные здесь все преступники!" Сосед по нарам, единственный, кто сохранил ко мне какую-то благожелательность, посоветовал негромко:

- Не рекомендую наживать себе среди нас врагов. Неизвестно еще, сколько вас тут продержат. Ведите себя спокойно.

И я смолк, оставил свои протесты. Потихоньку стал знакомиться с сокамерниками. В основном здесь находились теперь те, кого называли "военные преступники". Сосед по нарам Лахомов Иван Степанович был осужден еще в 1946 году. Несколько месяцев назад его вызвали в связи с пересмотром дела. Новое следствие только начиналось. Иван Степанович, плотный, тридцатичетырехлетний, бывший майор, относился к происходящему без надрыва, со спокойным пониманием происходящего. Он рассказал мне свою историю. В 1946 году он получил 8 лет за то, что якобы добровольно сдался в плен. На самом деле обстоятельства

пленения были трагическими: их отступающую часть немцы окружили и отрезали от своих в районе Брянска. Положение было безвыходным. В плен сдались остатки части, в основном, раненые. Ранен был и он, их командир.

Сейчас его обвиняют в том, что он не просто сам сдался, а явился инициатором сложения оружия частью. Якобы большинство офицеров были против, он принял тогда единоличное решение. О чем написал в органы его бывший заместитель по политчасти. Заместитель этот сдался вместе с остальными, но почему-то он не арестован, находится на свободе. Видимо, версия несогласия с командиром оказалась спасительной для него.

Больше всего меня удивило не поведение замполита, подлость есть подлость, а то, что по прошествии четырех мирных лет дела о военнопленных все еще находятся на рассмотрении следственных и карательных органов. Причем приговоры по ним выносятся еще более суровые, чем при первых рассмотрениях, когда кровоточили раны войны и суровость была, в общем-то, объяснима. Следователь на допросах Ивана Степановича разглагольствовал:

- Вы утверждаете, что как командир, считали своей обязанностью сохранить жизни людей. Но государству в тот момент, может, нужней была ваша смерть, чем ваша жизнь. Вспомните, какое стояло время? В плен сдавались целыми армиями, как, например, армия Власова. Вы создавали опасный прецедент для других.

- Ладно, тогда была война, - изумлялся я. - Но сейчас? Когда она позади? Неужели нельзя совершить акта великодушия? Простить своих оступившихся граждан? Кому от этого будет хуже?

- Ну уж нет! - выставлял Иван Степанович контрдоводы. - Наказание должно быть неотвратимо - в этом первейшая заповедь государства. Прощение тоже прецедент, оно может

стать опасным. Государство не может перестать заботиться о своей безопасности.

Пахомов, похоже, смирился со своим положением. Спокойно, даже, пожалуй, равнодушно он ждал окончания следствия. Меня же после карцера больше к следователю не вызывали.

Иван Степанович, знакомый с послевоенной следственной практикой, уверял, что, поскольку никаких новых обвинений мне не предъявлено, дело, скорее всего, кончится ссылкой. От Тани я теперь ре гулярно получал передачи: папиросы, продукты, иногда даже свежий творог. Я удивлялся этому обстоятельству, но решил, что она с кем-то их переправляет в Хабаровск. Свиданий, впрочем, нам пока не разрешали.

В первых числах апреля мне объявили о решении Особого совещания, ссылке на вечное поселение в Сибирь. Пахомов оказался прав. Местом поселения определен Казачинский район Красноярского края.

18. СИБИРСКАЯ ССЫЛКА

Из Красноярской пересыльной тюрьмы в Казачинск нас везли по ухабистой тряской дороге. На полях еще лежал снег. Изредка мы проезжали малолюдные закоченевшие села. Было пасмурно, сыро, зябко. В нашей легкой лагерной одежке мы совсем замерзли, сидели окоченевшие, как ледяшки.

Часа через три тряской езды, уже в сумерках, наконец, прибыли к пункту назначения. Выгрузились у здания комендатуры, где ввиду позднего часа, кроме дежурного, никого не оказалось. Пришлось длинную ночь коротать в холодной нетопленной избе.

Утром явился комендант в сопровождении вербовщика из леспромхоза. Комендант, румяный, с припухшим от сна лицом, в добротном армейском полушубке, разъяснил нам наш новый статус: оказывается, мы теперь свободные люди, вольны устраиваться как и где сумеем. Единственное требование: регулярно, раз в две недели, являться в комендатуру отмечаться.

Затем он предупредил, что в самом Казачинске устроиться нелегко, имевшиеся вакансии давно разобраны. Рекомендует нам вербоваться в леспромхоз или в совхозы, расположенные в глубинке. Он предоставил слово вербовщику из леспромхоза, который обрисовал условия будущей работы, обещал приличный заработок, добротное жилье и т.п.

Никто не клюнул на его сладкоречивый манок. Разошлись,

кто куда. Всем хотелось попытать счастья в Казачинске. Я тоже прошелся по селу. Старинные постройки, широкие улицы. В центре - площадь с бездействующей церковью, кирпичные и деревянные двухэтажные дома. Здесь райком, исполком, почта, госбанк - вся районная инфраструктура. А неподалеку - базар, чайная, сельпо. Увидев вывеску "Почта", я поспешил туда. В кармане у меня лежало написанное накануне письмо домой. Здесь толкалось немало народу. Отправив письмо, я подсел к немолодому мужчине, неторопливо заклеивавшему конверт с отправлением:

- Извините, вы давно в Казачинске? Не из ссыльных сами?

- Второй год, и все в этом качестве. А что?

- Да нас только что привезли. Интересуюсь, можно ли снять комнату, устроиться на работу в райцентре? Вы сами работаете где-нибудь?

- Здесь, в Казачинске, не одна сотня нашего брата, из них работает от силы десятков человек. Нет, я не работаю, живу на содержании от родных. Получаю посылки. В районные учреждения берут только специалистов: бухгалтеров, техников, можно устроиться также портным, сапожником, но вы ведь, кажется, не из их числа? - Он бегло скользнул по мне взглядом. - Да, к сожалению, большинство из нас имеют другие, ненужные тут профессии. Я, например, юрист. Ну, что делать мне в здешней глухомани?.. Кто помоложе, устраиваются в леспромхоз. Но там тяжелая работа, быт общежития - не всякому это по нутру.

Я крепко задумался: как быть? Просить помощи у жены? Ну, нет, на это я никогда не пойду. С нее хватит детей - дай бог их прокормить на мизерную ее зарплату.

Я обошел многие учреждения, предлагал свои услуги в совхозе, на пилораме, в строительной артели - везде получил отказ. В Райзо была вакансия, но требовался дипломированный агроном. Совхоз пока справлялся с работами,

возможно, месяца через два понадобятся разнорабочие. В артели бетонщики не требовались, вот столяра бы, они, пожалуй, взяли.

Пришлось возвращаться в комендатуру. Здесь уже находилось человек десять неудачников. Они все пытались устроиться в Казачинске. Представитель леспромхоза ждал у коменданта. Очевидно, он уже знал из опыта, что рано или поздно мы все вернемся под его крыло. Больше здесь ссыльному деваться было некуда.

К радости своей я увидел несколько знакомых. Среди них Королева Ивана Дмитриевича, однокамерника по хабаровской тюрьме, журналиста. Некогда он был известным обозревателем, участником гражданской войны в Испании. В 38-м году в первый раз арестован, получил 8 лет. В 46-м освобожден, поселился в городке Алексин Калужской области. В Москву ему вернуться не разрешили.

Два года он курсировал между Алексиным и Москвой, где проживала семья, пределом мечтаний было когда-нибудь соединиться с женой и сыном. Вместо этого - повторная тюрьма, мытарства этапа, наконец, вечная, как объявлено, ссылка в Сибирь. Весь день он, как и я, безуспешно рыскал в поисках работы и угла. Увидев меня, кивнул устало: - Тоже поздравить не с чем?

- Увы, придется ехать в леспромхоз. Другого выхода не вижу.

Он придвинулся с котомкой:

- На помощь из дома не надеетесь? - По его пристальному взгляду я понял, что вопрос для него не праздный.

- Не хочу обременять жену. У нее и без меня достаточно ртов. Он кивнул согласно:

- Хотя моя жена - художница, неплохо зарабатывает, но просто противно сидеть сложа руки и ждать подачки. Будем работать!

- Надо держаться вместе. Согласны?

- Разумеется. Сам хотел предложить. Мы подошли к представителю леспромхоза. Его уже окружали ссыльные, расспрашивали об условиях жизни и работы. Было видно, что многие колебались, пытались выторговать себе условия получше. Мы с Королевым назвали свои фамилии и записались без всякой торговли.

Постепенно наша компания стала пополняться. Мужчина средних лет, записавшийся вслед за нами, с волевым лицом и жилистыми натруженными руками, расположился закусь. Ел он сосредоточенно, не обращая внимания на суету вокруг. Но, как оказалось, все видел и все слышал. Когда мы присели рядом, он произнес:

- Я тоже так думаю: ехать - так ехать! А вон чудаки третий раз возвращаются. Переспрашивают, торгуются. Потолкаются и снова рыщут по Казачинску. Пустое дело!

Мы познакомились.

- Макаров Сергей Васильевич, - назвал он себя. - Помор из Архангельска. По призванию и профессии - моряк, морской волк. Командовал кораблем в Белом море. В 35-м году, после смерти Кирова, арестован. Сменил много тюрем и лагерей. Сидел в Архангельске, в Чувашии, на Колыме... Ладно, мы еще наговоримся. Перекусить не желаете? Наверное, и не подумали запастись харчами. А я тут раздобыл кое-что на дорогу. Присаживайтесь.

Мы не заставили себя долго упрашивать, позавтракали из его запасов. Затем, когда получили аванс, тоже закупили кое-что в магазине. Наш новый знакомый познакомил нас с еще одним человеком. Он окликнул его на улице, недалеко от магазина:

- Яков Абрамович, как успехи?

- А, Сергей Васильевич! - к нам ринулся потерянный усталый человек с мягкими интеллигентными чертами лица:

- Представьте, нигде не берут. Даже корректором в районную газету предлагал себя, - он сокрушенно и растерянно развел руками: - Не знаю, что и предпринять...

- Кончайте мыкаться и прищвартовывайтесь к нам! - решительно сказал моряк. - Держим курс на леспромхоз. Пока нас трое, будете четвертым. Не пропадем, думаю. Все старые арестанты, на кусок хлеба уж, во всяком случае, заработаем.

- Боюсь, стану вам обузой. Мне тяжелая физическая работа не по плечу.

- Ничего, беру вас своим напарником. У нас раньше с вами неплохо получалось.

- Заманчиво, конечно. Надо подумать.

- И думать нечего. Мы сегодня уезжаем. Идите и записывайтесь. Попросите, чтобы вас отправили с нашей группой. Впрочем, пошли вместе, я сам вас запишу.

Затем он тоже отправился в магазин отовариваться. Макаров, глядя ему вслед, сказал:

- Большой оригинал этот Яков Абрамович Гольдштейн. Я знаком с ним еще по Колыме. Старый коммунист, польский политэмигрант, бывший работник Коминтерна. А сейчас в голове у него полный переворот. Он дошел до идеализма, до религии. Кажется, даже молится. Я думал вначале, человек рехнулся, но после нескольких бесед с ним, понял, что передо мной светлая голова. И вообще - добрейшей души человек. Да сами увидите!

Скоро нам подали машины. Записавшихся распределили соответственно возрасту и физическим кондициям. Молодых и крепких отправили непосредственно на лесоповал, нас, которых постарше - в лесхоз на дровазаготовки. Учитывались, конечно, и личные пожелания. В нашей группе насчиталось шесть человек. По словам уполномоченного, нами будет командовать лесничий. Он обеспечит нас работой, он же предоставит ночлег и питание.

Пока ехали, познакомились с двумя остальными спутниками. Оба сибиряки, красноярцы. Моисеев Андрей Иванович, в прошлом парторботник. И Ануфриев Борис Владимирович, юрист. У обоих лагерный стаж больше 10 лет. Сидели в разных лагерях Восточной Сибири. В 46-м были освобождены и поселились в родном Красноярске. После вторичного ареста оказались в Красноярской тюрьме, где и познакомились. С тех пор держатся вместе.

Лично я доволен. Нахожусь среди людей сходной судьбы. В такой компании скучно не будет.

Встретил нас лесник - бородатый, жилистый мужик с настороженным взглядом. Макаров - мы как-то сразу признали моряка за старшего - протянул хозяину записку от уполномоченного. Тот прочитал, кивнул, настороженное лицо его несколько разгладилось и подобрело. Он разместил нас в двух пустующих домах: четверых - в большом и двоих (красноярцев) - в меньшем.

Мы тут же договорились с хозяйкой об условиях. Она взялась нас кормить и убирать наши комнаты за 300 рублей в месяц с каждого. Это примерно половина предполагавшейся зарплаты. Нас это вполне устраивало.

Вечером хозяева истопили баню, мы отлично попарились. А когда вернулись домой, кровати наши были застелены чистыми простынями и на подушках белели наволочки. Все это было радостно и непривычно: белые простыни, чай с сушеной малиной, приветливость хозяев. Счастливой была наша первая ночь в лесничестве.

Утром разделились на пары: Макаров, как обещал, взял в напарники Гольдштейна, я стал с Королевым, третью пару составили красноярцы. Мы взяли пилы, топоры, и лесничий (он назвался коротко: Петр) показал, какие деревья пилить на дрова, куда убирать сучья, объявил, сколько стоит заготовка одного кубометра и как будет осуществляться приемка.

Мы с Королевым договорились не гнаться за большими заработками, Кубометр в день на каждого - вполне достаточная для нас норма, которая даст нам заработок 600 рублей в месяц. Этой суммы хватит, чтобы рассчитаться с хозяйкой, на личные расходы (курево, переписка), и, сверх того, можно будет откладывать рублей 200 на черный день.

В первый день мы выполнили свою норму к трем часам дня. В дальнейшем наловчились заканчивать не позднее двух. Еще полчаса уходило на вынос и сжигание сучьев, гашение костра, в три мы были уже дома. Примерно в это же время возвращались и Макаров с Гольдштейном. Вместе обедали, после чего ложились вздремнуть на час-другой.

Ануфриев и Моисеев обычно приходили с работы позднее. Они установили себе норму три кубометра на двоих, чтобы отправлять семьям часть заработка. Дело, конечно, доброе, неплохо бы и мне последовать их примеру. Но я знал, что Иван Дмитриевич будет против, и не стал настаивать. Не все сразу, успокаивал я свою совесть, вот окрепну малость, и уж тогда...

А истинная причина была в том, что мне очень нравилось мое свободное время. Мы играли в домино, в шахматы. Иногда брали у Петра что-нибудь почитать: у него скопилась кое-какая библиотека. Среди книг оказались и старинные, в том числе Библия.

Больше всех увлекался чтением Гольдштейн. Он не участвовал в наших играх, редко включался в беседы. Он даже раздобыл для этой цели керосиновую лампу, за керосин платил хозяевам дополнительно. Остальные были поглощены свободным времяпрепровождением. Я либо наблюдал за шахматной баталией Ануфриева с Королевым, либо просто шурился на солнце на завалинке. Я был счастлив оттого, что после многих мытарств и тягот обрел, наконец, покой. Ничто меня больше не тревожило, не терзало.

Но блаженство длилось недолго, начались конфликты, столкновения. Начались они с пустяков. Королев, с нетерпением ожидавший писем из дому, принял за правило вслух расписывать достоинства своего семейства. Каждый вечер мы выслушивали, например, какая блестящая талантливая женщина - его жена, и какая у нее замечательная работа. Как великолепно учится сын, и какая у них со вкусом обставленная квартира в Москве. Каких незаурядных людей встречал он там при своих недавних наездах из Алексина!

Наверно, не он один мог бы рассказать о своей семье. Еще недавно мы все жили со своими женами, тосковали по ним сейчас не меньше него и с тем же нетерпением ждали ответов на свои письма. Каждый думал о своей семье днем и ночью.

Но я помнил о том, что у Макарова жена, арестованная вместе с ним, пропала без вести, а дочка воспитывается где-то в детском доме и от нее у него нет вестей. А у Гольдштейна жена, дети, родители - вся большая семья - погибли в Вильнюсском гетто. Старались не беречь раны товарищам и сибиряки Моисеев с Ануфриевым. Только Королев забывал обо всем на свете, когда расписывал столичную жизнь своих.

Сергей Васильевич Макаров в какой-то момент не выдержал:

- Однако, непонятно, Иван Дмитриевич, отчего это вы, прячась, точно воришка, катались каждую неделю из Алексина в Москву? Что, ваша замечательная жена не могла избавить вас от этого? Ведь она человек свободной профессии, ей ничего не стоило переехать в Алексин.

- Как? Уехать из Москвы? Оставить мастерскую, квартиру? Алеше бросить английскую школу? Вы думаете, что говорите?

- Ну, хотя бы летние месяцы они могли бы провести у вас, - не сдавался Макаров.

- Нет, нет, что вы, там не было для нее условий. Слишком тесно, маленькая каморка на одного. Да и, откровенно говоря,

я не хотел их компрометировать. Всегда старался вести себя предельно осторожно, чтобы не навредить им.

- Изумительно! Представляю, как вы крадучись, дворами и задворками, чтобы не попасть на глаза соседям, являлись по ночам к любимой женушке и как великолепно себя там чувствовали!

Спор обещал перерасти в стычку, чему все присутствующие бурно воспрепятствовали. Ануфриев потянул Королева к шахматной доске, я усиленно затряс перед его оппонентом коробкой с домино. Макаров неохотно отступил, но все мы чувствовали, что спор между ними не закончился. И, действительно, он возобновился на следующий день. На сей раз в перепалке участвовали почти все. Даже Гольдштейн отложил в сторону книгу и вслед за спорщиками переводил свои округлые серьезные немигающие глаза. Казалось, он пытался угадать, что подспудное кроется за необычно резкими словами, за сотрясающими воздух обидными репликами недавних друзей. Самый рассудительный и старший по возрасту среди нас Ануфриев на этот раз не тянул к шахматам, признавая тем самым весомым предмет спора. А Мойсеев, его напарник, нервно ходил взад-вперед по комнате, вздрагивая и вскидывая голову, когда децибелы начинали сотрясать стены особенно мощно. На его худом аскетическом лице, особенно когда он высказывался сам, отражались переживаемые им непростые чувства.

Спор был о том же и не о том: о верных и неверных женах, страхе и несвободе, времени и друзьях. И я не мог остаться в стороне, тоже кричал и размахивал руками. Никуда, видно, нам не деться от ободренных, истерзанных нервов, обид, тревог, мыслей о будущем. Все мы были обречены жить и помнить...

А весна брала свое. Снег в лесу набряк, пропитался влагой, а вскоре и потек ручьями, зазеркалил водяными линзами.

Задымил у Петра огород, готовясь к распахке. Неожиданно заголубело освобожденное от снега небольшое, но оказавшееся прелестным лесное озерцо. Мы потянулись туда с удочками. И вообще перекочевали на улицу. Сколотили во дворе стол, две скамейки. Здесь мы теперь часто обедали, читали, отдыхали. В дом уходили только спать. Споры не то чтобы прекратились, но поугасли. Может быть, потому, что начали поступать весточки из дому.

Первым получил привет Королев. Он, разумеется, немедленно ознакомил всех с содержанием писем. Жена сообщала о своем последнем вернисаже и о том, что очень скучает без него. А сын еще нетвердым полудетским почерком объявил, что, как только наступит лето, они с мамой обязательно к нему приедут. Даже в том случае, если маме что-то помешает, он приедет один - не маленький уже. Иван Дмитриевич показывает послание сына с гордостью. Он так и светится от счастья. Подсчитывает, сколько дней остается до июня - начала школьных каникул, и, не откладывая, с волнением садится за ответ.

Получил весточку и Ануфриев. Он тоже не стал делать из письма секрета. Жена писала, что денежный перевод она получила, но просит больше денег не высылать, так как им с дочерью хватает. Дочка намеревается уйти из школы по окончании седьмого класса. Хочет устраиваться на работу. Учится она хорошо, способная, но жалеет мать, Борис Владимирович был возмущен таким решением и тут же в ответном письме потребовал, чтобы дочь продолжала учиться, деньги он будет по прежнему высылать, именно ей на учебу.

И Мойсеев получил свое письмо. И Макаров. Эти помалкивают. Макаров хмуро бросил: "От знакомой". Больше никаких подробностей.

Дошла очередь и до меня. Таня бодро сообщала, что дома

все в порядке, дети здоровы, учатся хорошо. Она работает в пригородном совхозе под Хабаровском и, как только закончится сев, постарается ко мне выбраться. Возможно, прихватит с собой дочку. Мальчики уже большие, месяц как-нибудь перебьются одни. На месте можно обдумать, что делать дальше. Если удастся найти работу в Казачинске, то готова перебраться ко мне.

Все восторгаются моей женой, поздравляют меня. Макаров выражает общее восхищение:

- Вот это женщина! Готова с тремя детьми отправиться к черту на кулички. Декабристка! Ты счастливый человек, Иосиф. Имей я такую, жили бы с ней душа в душу, и больше ничего в жизни не надо! Ей-богу!

19. ОТКРОВЕНИЕ ЯШИ

Только Яша Гольдштейн ничего не получил. Но он спокойно поясняет, что, в общем-то, ни от кого писем не ждет, разве что от знакомых - кому послал весточку. Родных у него не осталось. В свободные от работы часы обычно уединяется - отправляется к озеру с книгой или с удочкой.

Мы с Яшей мало общаемся, чаще с Королевым. У Ивана Дмитриевича богатая журналистская биография: он часто рассказывает о загранице, в частности, об Испании, где провел два года - вообще он общительный, жизнерадостный человек. Мне с ним никогда не бывает скучно. По сравнению с ним Яша выглядит нелюдимым, замкнутым. Впрочем, может быть, это только внешне: я все еще плохо его знаю.

Вообще после последней стычки недавно дружный организм бригады как бы дал трещину. Редко-редко теперь проводим время все вместе. Шестерка распалась на пары, на одиночек. Как работаем, так и отдыхаем: Макаров с Гольдштейном, я - с Королевым. А Моисеев с Ануфриевым расползаются и друг от друга кто куда.

Странно бывает наблюдать, как даже такие много испытавшие, свободные от карьеристских устремлений люди не могут иногда понять, просто спокойно выслушать друг друга. Каждый во власти своего во многом перекошенного, однобокого жизненного опыта. Недавно пережитое мешает увидеть мир таким, каков он есть. Каждый считает, что только

у него истина, и только думающий как он - подлинно честный человек. Помимо накопившейся за годы злобы, это результат многолетнего догматического воспитания, а также чисток, арестов, страхов. Мы неспособны на объективный анализ, доброжелательное восприятие человека с другими взглядами.

Эти мысли я как-то высказал Ивану Дмитриевичу, предложив сделать первый шаг навстречу 'рстальным. Он охотно согласился. Мы тут же отправились на озеро к Макарову с Гольдштейном. Это помогло: на время вновь начались мирные беседы, общение. Но стоило кому-то затронуть политический вопрос, как спор мгновенно вспыхивал, как сухой костер.

Обычно сдержанный Борис Владимирович Ануфриев кричал своему оппоненту Макарову:

- Ваши идеи децентрализации и самоуправления, свободы политических течений противоречат вашему идолу Ленину. Марксу - да, соответствуют, но с однопартийной системой Ленина никак не сочетаются. Следуй Ленин вашей демократии, он бы никогда не разогнал Учредительное собрание, не порвал бы с левыми эсерами, - согласился бы на коалицию с другими партиями. Но он инакомыслие не приемлет! Ор-га-нически, понимаете?

- Пытаетесь вбить клин между Марксом и Лениным? - суживает холодные глаза Макаров. - Хотите противопоставить одного вождя другому? Не выйдет! Оба они проповедовали диктатуру пролетариата - альфу и омегу социализма! Это главное.

- Должен разочаровать вас, коллега, - язвит с саркастической усмешкой Борис Владимирович. - Между диктатурой пролетариата Маркса и тем же понятием Ленина - пропасть. По Марксу диктатура осуществляется всеми партиями рабочего движения. Сотрудничество между ними - основа основ его теоретических построений. Да и практики

тоже. В пору создания 1-го Интернационала он составляет компромиссную программу, учитывающую взгляды тредь-юнионистов, лассальцев, прудонистов, бакунистов. В период Парижской Коммуны он активно поддерживает ее, хотя главную роль там играют его оппоненты бланкисты и прудонисты. И так на протяжении многих лет. Ленин же выход из затруднительных ситуаций видит прежде всего в расколе. Диктатуру у него осуществляет одна партия. Насилие - главный инструмент его политики. Он рубит головы своим противникам так же безжалостно, как затем его последователь Сталин. Они и карателей использовали одних и тех же - вскормленных, воспитанных еще Лениным.

- Вы не смеете! Не смеете ставить их на одну доску! - вскипает Макаров. - Ленин сверг класс эксплуататоров. Сталин же уничтожил лучший цвет партии! Только слепой не видит разницы.

- Ленин просто не успел сделать того же! То, что он высказал перед смертью в своем завещании о Сталине, в полной мере относится к нему самому. От неумолимой борьбы с меньшевиками и эсерами, Плехановым и Мартовым прямая дорога к сталинской расправе с оппозицией, и от ленинского Брестского мира - к союзу и сговору с Гитлером!

- Ну, знаете... - Макаров не находит слов от возмущения: - Это ... это святотатство! О Ленине? Такое?!

Ануфриев безжалостно рушит, кромсает то, что ему бесконечно дорого, что всегда помогало выносить тяготы лагерной жизни. Ему никак невозможно с этим примириться, но контрдоводов не приходит на ум. Сергей Васильевич попросту немеет. К нему на помощь бросается Моисеев. Это опытный полемист. Он уже слышал подобные высказывания о Ленине, для него они не столь неожиданны, И он знает, как на них отвечать.

- Ленин - стратег эпохи империализма! - говорит он

снисходительно, по-профессорски обкатывая фразы. - Он предугадал ее развал вследствие разгоревшейся мировой войны. В этом его историческая заслуга. Отсюда и лозунг Октябрьской революции как детонатора мировой. Свою линию Ленин последовательно проводил до конца своих дней.

- Заблуждаетесь! - мгновенно, включается опять Ануфриев. - Мнение, что Ленин действовал последовательно и безошибочно - тоже не более чем миф. Сейчас уже очевидно, что ленинская оценка эпохи не подтвердилась действительным ходом исторического развития. Он ошибся в утверждении, что западный индустриальный мир переживает последнюю стадию, что война расшатала этот мир до основания. Достаточно российской искры, утверждал он, чтобы весь рабочий класс Запада поднялся и перестроил мир. Как известно, и этот его прогноз не оправдался.

- Вы Ленина не трожьте! - холодно оказал Моисеев, помолчав. - Мы с ним тридцать лет прожили. Он нам дорог, он наше знамя! - Это был последний его аргумент. Но опять Ануфриев покачал головой:

- Отнимите у христиан Христа - им тоже станет не по себе. Сие вовсе не означает, что Христос - тот, за кого его выдают. Образ Христа создавался столетиями. Также и воображаемый вами Ленин ничего общего не имеет с бывшим в действительности. Он культивировался искусственно, превращался в идола, полубога. Огромный пропагандистский аппарат Сталина развивал культ Ленина затем, чтобы самому греться в лучах его славы. Ведь слава неизбежно распространяется с учителя на учеников.

Тут снова заговорил Макаров, дар речи, похоже, вернулся к нему: - Отбрасывая Ленина, Октябрьскую революцию, что же вы выбираете? Возврат к капитализму, к миру неравенства, эксплуатации?

- Не обязательно. В свое время я поверил Ленину, пошел за ним. Я думал, что его путь революции - самый короткий из тех, что ведут к справедливости. Но я сполна получил за свое легкомыслие. Возможно, есть третий путь? Надо искать...

Компания наша окончательно раскололась. Хотя Моисеев продолжал работать в паре с Ануфриевым, но я видел, как натянуты их отношения. То натолкнешься на непримиримые, упрямо сжатые губы Ануфриева, то на пышущие ненавистью глаза Моисеева. Странно все это. Столько лет просидеть в тюрьме и лагере и ровным счетом ничему не научиться! Дай сейчас власть Моисееву, и он не задумываясь употребит ее против своего инакомыслящего оппонента.

И добрый общительный Королев ни единым словом не воспротивится новому насилию. В лучшем случае сделает вид, что его это не касается. Или даже продолжит путь в обнимку с новой властью.

И бесстрашный морской волк Макаров - убежденный сторонник самоуправления, свободы печати, децентрализации экономики - после полемики о Ленине как-то ушел в себя, возможно, попросту испугался. Для него, как и для Моисеева, отход от Ленина - потеря самого святого в жизни. Сокровеннейшие его воспоминания - выступления Ленина, Троцкого, Бухарина, свидетелем которых когда-то случилось быть, самая любимая песня: "Уходили комсомольцы на гражданскую войну!"

Откровенно говоря, мне и самому горько расставаться с прежним моим Лениным. Вспоминаю наполненные верой годы молодости: митинги, подпольные собрания, листовки. Неужели все было зря? И я тоже мысленно полемизирую, пытаюсь спорить с Ануфриевым, хотя отчетливо сознаю, что представление о Ленине и ленинизме почерпнул из тех же лживых сталинских учебников, пропагандистских газет, что

и многие мои единовѣрцы. Знал ли я всю правду об Октябрьском перевороте? Или, например, о последних месяцах жизни Ленина? Почти ничего не знал!..

Один лишь Яша Гольдштейн по-прежнему в стороне от политических страстей. То, что нас переполняет, ему, по моему, давным-давно известно. Он не боится будущего, не охаивает прошлого. Я завидую его спокойствию и ясности взгляда. Откуда это в нем? Чем питается его оптимизм? Хорошо бы узнать, и, может быть, заразиться тем же...

Тем временем подошли к концу наши дровозаготовки. Пора было подумать о новой работе. В одно из майских воскресений мы побывали в поселке Галаново на берегу Енисея. Здесь была пристань, пункт Заготзерно, следовательно, возможность найти работу. Отправились втроем: Я, Макаров и Яков Абрамович.

Галаново - главный транспортный узел района. Здесь и пассажирские перевозки, и грузовые потоки. Мы бродили по поселку, толкались на почте, где, как положено, собиралось много ссыльных, интересовались работой. В конце концов, работу нашли, даже две: на пристани и в местном отделении совхоза. Пообедав в многолюдной гудящей чайной, присели на высоком крутом берегу реки.

Тут впервые я увидел Енисей в его натуральном виде, Зимой, когда мы ехали на машинах из Красноярска, река лежала перед нами немой, заснеженной равниной. Сейчас она ожила. Одна за другой тянулись мимо длинные караваны барж с лесом и гравием, к пристани поворачивал, буруня воду винтом, большой белый пароход с пассажирами. С уткнувшихся в берег нескольких суденышек мужички-оборвыши, вроде нас, бойко таскали по сходням мешки и катали бочки.

Не знаю, как мои друзья, но я чувствовал волнующее дыхание внешнего мира, от которого был оторван. Вспомнились давние путешествия по Средиземному морю и

полноводному Амуру. С огромной силой потянуло туда, на волю, на белый пароход с пассажирами, пришвартованной внизу. Наверно, не я один это почувствовал, потому что Сергей Васильевич произнес со вздохом:

- Пошли, ребята! Тут сидеть - только расстраиваться. - Надо подумать о ночлеге.

Довольно быстро мы выбрали большой дом, в одной половине которого жили старик со старухой, а вторая пустовала. Здесь мы провели весь следующий день. Я поразмыслил, поговорил со стариками, взял да и заплатил за жилье на месяц вперед. В последнем письме Таня сообщала, что собирается ко мне - вот и будет нам угол на первое время. Весь этот день мы отдыхали: ходили на реку смотреть пароходы, бродили по поселку. Неожиданно разговорился Яша Гольдштейн - видимо, обстановка располагала к откровениям. Слушая его, мы с Королевым изумлялись:

- В детстве я учился в хедере, еврейской школе, верил в бога. Бог олицетворял в моих глазах все доброе, разумное, а дьявол - наоборот, хищное, бесчеловечное. Я был уверен, что между богом и дьяволом идет борьба за душу человека, в частности, и за мою душу. Потом пришло современное образование, со знаниями о природе, с верой в человеческий разум и его возможности, которое вытеснило из моей души бога и дьявола вместе с детскими понятиями добра и зла. Я пришел к выводу, что разум, венец природы - главный двигатель человеческих поступков. Именно он, разум, приводит людей к гармоничной достойной жизни. Вершиной разума представлялись мне идеи Маркса и Ленина. Что может быть привлекательней осознанной решимости переделать мир одним ударом - революционным действием организованного пролетариата? Этой идее я отдал все силы души.

Но вот переворот совершился, и на мое поколение

обрушились катаклизмы нового порядка. Меня и еще миллионы мне подобных Сталин бросил в тюрьмы и лагеря. Почти одновременно другой тиран - Гитлер - уничтожил в газовой камере мою жену, детей, родителей. Десятки миллионов погибли в мясорубке Страшной войны. А на горизонте уже маячит еще более зловещая тень атомной войны. Причем, все эти кошмары сопровождаются неистовым воем о том, что жертвы временны, они окупаются светлым будущим, во имя которого и творятся.

Вся эта безумная пропагандистская какофония продолжается по сей день. Но теперь у меня раскрылись глаза. Я понял, наконец, что с помощью адской говорильни можно оправдать любые страшные преступления. И вообще: идея, разум - такой же инструмент в руках политиков, как любой другой. Сам по себе он бессилён обеспечить мир, счастье на земле.

Единственное, чему сегодня я могу довериться - это сердце, душа. В конечном счете, именно они диктуют нам и мысли и поступки, объясняют зигзаги поведения, руководят желаниями.

Душа человека противоречива и раздвоена. Она стремится к добру, но в то же время подвластна инстинкту хищника, милосердна, но жаждет власти, любвеобильна, но нетерпима и слепа. Каждому из нас присуще то и другое.

- Здесь истоки трагической человеческой истории, - подвел итог своим размышлениям Яша. - Две противоречивые, противостоящие друг другу тенденции живут в обществе, развиваются, сталкиваются, порождают конфликты, войны, революции. Действуют силы разрушения, насилия, гнета, но противостоят им тяга к добру, сотрудничеству, миру. Вместе они создают тот противоречивый мир, в котором мы существуем.

- Другими словами, вы вернулись к детским понятиям

добра и зла? - простодушно спросил я. Он ответил не сразу.

- Иронизируете? Хотите сказать, что я впадаю в детство? Я промолчал.

- Да, это так, - неожиданно легко согласился он. - Но я возвращаюсь к нему не из-за своего старческого слабоумия. Таков итог моего жизненного опыта. Я возвращаюсь к религии, и в ней меня прежде всего интересует человек. Удивительное дело: хотя в основе религии всегда была тяга к совершенству, но едва она становилась популярной, как тотчас ее приспособливали для своих целей люди других, низменных устремлений: хищные, корыстные, властные. Обряды, ритуалы, поклонения верующих мгновенно превращались в инструмент повелевания. Я пытаюсь вернуть религию к ее истокам.

- Толстовство? - полувопросительно изрек я. - Или вы считаете, что у вас есть новый, не испытанный ранее опыт?

- Я противник идеи непротivления! - решительно не согласился Яша. - Я за сопротивление, за борьбу. Но ненасильственные. Человечество освоило за свою историю гуманные, демократические формы сопротивления. Они позволяют обходиться без кровопролития. Я отбрасываю классовую теорию Маркса, как теорию неизбежности, фатальности революции. По Марксу, ее движители - пролетарии, наиболее угнетенный класс общества. На первый взгляд как будто гуманно, справедливо. Но история показала, что это не так. Уже у Ленина организаторами революции оказались профессиональные революционеры - тонкий слой избранных, присваивающих себе право выражать волю народа! А Сталин пошел дальше: узурпировал это право сам со своими подручными. Такова эволюция идей. Теория классовой борьбы, в сущности, так же бесчеловечна и надуманна, как и расовая, где разграничение людей проводится по признаку цвета кожи. Почему бы, следуя этой

логике, не ввести разграничение, скажем, по росту или по цвету глаз, или, допустим, форме черепа? Глупости все это!

- Хорошо, - согласился я, - предположим, что вы правы. А что дальше? Насколько способны вы увлечь своими идеями народ? Народом правят сильные, жестокие люди. Только им он способен повиноваться. Ведь вам в лучшем случае посочувствуют, а они используют ваши идеи, чтобы управлять. Так всегда было!

- Нет, нет, никогда не соглашусь с вами! Это лишь внешне так выглядит, будто сильные мира сего творят историю. На самом деле все наоборот. Мог ли поверить Пилат в то, что нищий еврей со своими идеями любви и добра подточит до основания силы Римской империи? Но произошло именно так. Идеи Христа до сих пор живут в сердцах миллионов людей. Одних только католиков полмиллиарда. Такова же судьба идей Руссо, Сен-Симона, Фурье. Марксу казалось, что Прудон и Лассаль - бесплодные утописты-мечтатели, но и сегодня их идеи продолжают будоражить умы. Они, как кроты, подкапывают, но затем взрывают общество. А возьмите учения Толстого, Ганди. Официально признанные сегодня в ООН, они поддерживают силы демократии, борются с насилием, расизмом, войной. Не в силе правда, а в правде сила. Это мой любимый афоризм. Сильно сказано, не правда ли? В двух словах целая философия.

Я кивнул восхищенно.

20. ОБЕД У КОРОЛЕВА

Вернувшись из Галаново, мы узнали, что Королев с Ануфриевым накануне уехали в Казачинск встречать жен. Через несколько дней неведомо куда исчез Моисеев, вроде бы тоже к жене.

Получив расчет, наша троица вернулась в Галаново, где у нас был теперь угол. Но работа оказалась не в поселке, а в отделении совхоза, довольно отдаленном. Здесь нас поселили в пустой нежилой избе и выдали аванс. Наутро мы уже работали в составе сенокосной бригады. Я подвозил сено на волокуше, Макаров и Гольдштейн стоговали, подавали его навильниками наверх. На стогу орудовали двое местных.

Работа нелегкая, но особенно тяжело приходилось Яше Гольдштейну. Он просто исходил весь потом. Через день мы с ним поменялись: он оседлал волокушу, а я взял в руки вилы. Днем, в самое пекло, мы прятались в тень и спали,

За 20 дней сенокоса ни разу не заглянули мы в местный клуб, где каждый день крутили кино, ни с кем из сельчан не познакомились, кроме своих собригадников. Не читали, не ссорили о политике, даже не возмущались скудным харчем, доставлявшимся к обеду в двух солдатских термосах. Тяжелая работа отнимала все силы и желания. Ночью забывались глубоким провальным сном, утром тяжело пробуждались от него. Не успевавшее отдохнуть тело ныло, как избитое. Время текло без завихрений.

В последних числах июля я получил телеграмму от жены:

она купила железнодорожный билет на первое августа. Я прикинул, что в Галаново она прибудет числа шестого-седьмого, и с пятого попросил в совхозе расчет. Распрощался с товарищами, получил деньги и вечером того же дня на совхозной полуторке уехал в Галаново.

Здесь мне пришлось изрядно поволноваться. Три дня подряд я выбегал на пристань к каждому прибывающему пароходу.

Появилась Таня только девятого августа, днем, на рейсовом пассажирском пароходе, и я сразу выхватил глазами в толпе ее родную усталую фигуру с большим, тянущим руку чемоданом. Свободной рукой она радостно помахала мне, и я ястребом ринулся навстречу.

- В чем дело? Где ты пропадала? - забросал я ее рассерженно-нетерпеливыми вопросами.

- Пришлось задержаться в Красноярске. Хлопотала насчет будущей работы, - объяснила она. Только теперь я догадался поцеловать ее. Вышло как-то наспех, стеснительно. Скрывая неловкость, я принялся уточнять:

- Что ответили? Пообещали? Есть место?

- Инспектор обещал поискать. Если не здесь, то, возможно в районе Канска. Там есть сортоучасток.

- Ну, здесь это нереально. Пусть Канск. Я согласен.

Я привел ее к себе в комнату, снятую весной, с голыми стенами, скособоленным почерневшим окном. Комната была совершенно пустой - без всякой мебели. Хозяйка надергала нам свежей соломки из стожка во дворе, кинула старую рогожку, поделилась двумя табуретками и кое-какой посудой. И мы мало-помалу устроились. В комнате было пусто и гулко, но нам было хорошо вдвоем.

Таня рассказала о событиях, случившихся с ней после ареста: угрозах секретаря обкома Симонова, тайном переезде в Хабаровск, детях.

- Они знают о планах переезда? - Я вдруг осознал, что дети, оставленные матерью на попечение соседки, люди самостоятельные, и их мнение тоже играет роль.

- Да, конечно! - она торопливо кивнула: - Изик и Кларочка в восторге от предстоящего путешествия. Оба только и твердят, что о папе и встрече с ним. Наум более сдержан. Он все-таки ученик девятого класса, комсомолец. Один год остался до окончания школы. Если откровенно, то проблемы с ним есть.

- Может, не стоит срывать его с учебы? - засомневался я.

- Нет, нет. Я его одного там не оставлю. Поедет с нами!

- Через год закончит десятилетку - все равно уезжать! - осторожно продолжал я.

- Ну, там видно будет! - она нахмурилась, и я понял, что решение ею принято и настаивать бесполезно. Я поспешил переменить тему:

- А деньги на переезд у тебя есть? Расходы будут немалые.

- Ну, я уже продала кое-что из вещей. С собой вот прихватила немного денег. Хочу тебе оставить.

- Мне? Зачем? Я достаточно зарабатываю.

- Можешь потратить их на меня, - сказала она с улыбкой. - На меня давно уже никто не тратил.

Неожиданно нас пригласил на обед Королев. "На обед" - звучало несколько манерно для ссыльного, но причина объяснялась просто: у него гостили жена с сыном.

Таня побежала к парикмахеру, навела прическу, извлекла из чемодана и выгладила мой костюм. Я оделся франтом: напялил галстук, постригся, надушился. Таня строго осмотрела меня и осталась довольна. Помолодевшие, нарядные, в праздничном настроении, мы поехали в Казачинск.

Иван Дмитриевич уже высматривал нас в окно - торопливо сбежал с крыльца навстречу. Мы обнялись. Я

познакомил его с женой. Он нашел, что она выгладит много моложе, чем он себе представлял. Как опытный льстец, разумеется, тут же довел об этом до ее сведения. Таня расцвела.

Мы познакомились с его женой и сыном. Женщины с интересом оглядели друг друга. Таня сказала:

- Я много слышала о вас от Иосифа. Рада познакомиться.

- О, а о вас Ваня мне все уши прожужжал. Расскажите, как прошло ваше путешествие? Кому вы поручили детей? Вы героическая женщина! Как вы решились их оставить? Таня пожала плечами:

- Ничего героического. Старший сын уже достаточно взрослый, самостоятельный. Как вот ваш Виктор, примерно. А соседка обещала за младшими присмотреть.

И женщины оживленно заговорили о детях, о других своих заботах и делах.

Мария Леоновна - широкоскулая, приветливая, с типично русским лицом женщина, с внимательным спокойным взглядом. Она больше похожа на учительницу или детского врача, чем на художницу, представительницу богемы. Сын Витя - высокий худой акселерат, он не отходит от отца. Смотрит на него влюбленно, завороченно, ловит каждое слово.

Сам Иван Дмитриевич преобразился, не похож на себя. Веселый, остроумный, с быстрыми движениями. Вдвоем с сыном они деловито накрывают на стол, расставляют тарелки с закусками. Откуда что и взялось: московские деликатесы, сладости, фрукты! На стене развешены пейзажи, какие-то рисунки, наброски. Хотя комната не больше нашей, но в ней много уютней: имеются кровать, стол, стулья, даже настольная лампа на подоконнике. Пейзажи местные: Енисей, высокий берег, узнаваемые окрестности Казачинска.

- Прошу за стол! - широким хлебосольным жестом пригласил Иван Дмитриевич.

Мы подняли стаканы за встречу, здоровье детей, жен. Прекрасное токайское вино, московская закуска; ломтики копченой колбасы, горбуша в масле, сыр. Я давно не ел ничего подобного. Разговор становится оживленным. Я рассматриваю этюды. Они мне нравятся. Особенно река: полноводная, стремительная. Солнце, блеск, блики на воде. Видно, что художница работала с увлечением.

- Когда вы успели все это написать?

- Так ведь мы здесь уже порядочное время. Откровенно говоря, когда собирались, думали: отдохну там от кистей, красок. Но вот прошлась по Казачинску, увидела Енисей и поняла, что отдыха не получится. Захотелось увезти с собой это сибирское великолепие, сохранить память о нем. Я, действительно, много работаю. Кажется, что-то получается. Вообще, нынешняя поездка счастливая для меня во многих отношениях.

- Вы долго еще собираетесь здесь гостить?

- Вообще-то рассчитывала пробыть до середины августа. Есть дела в Москве, от них не отмахнуться. Но боюсь, Витеньку моего не так легко будет оторвать от отца, - она улыбнулась.

- Мамочка, зачем вообще нам уезжать? - тотчас откликнулся Витя. - Здесь и школа есть, и природа замечательная. Мне здесь безумно нравится. А, главное, будем с папой. Давай останемся!

Я посмотрел на Королеву. У него было детски-счастливое смущенное лицо. И затаенный восторг в глазах!

Но опустила голову помрачневшая Мария Леоновна, и он торопливо возразил:

- Нет, нет, Витек, это невозможно. Мама должна ехать, у нее много дел в Москве. Этюды она использует для большого серьезного полотна. Скоро зима, а зимой здесь делать нечего. Да и тебе нужно кончать московскую спецшколу, чтобы

поступить в университет. За меня же не беспокойтесь. Будет вам хорошо - и я буду спокоен.

Он говорил то, что должен был сказать в данной ситуации, но я хорошо сознавал, что творилось в его душе. И, как ни странно, испытывал зависть к нему. Вот мой старший сын - тоже старшеклассник и Витин ровесник - не очень рвется к ссыльному отцу. В отличие от Ивана Дмитриевича мне не удалось найти путь к его сердцу. Он для меня сейчас - глухая крепость.

Когда мы вышли на крыльцо покурить, я сказал об этом Ивану.

- Возможно, дело в том, что я много и откровенно рассказывал ему о лагере? - предположил он.

- Да, да, я всего рассказывать не решался. Не хотел, чтобы дети мои ожесточились, росли в ненависти к режиму. Мне казалось, что ничего, кроме несчастья, не принесет им моя лагерная исповедь.

- Были и у меня на этот счет сомнения. Но я все же решил, что должен говорить правду. Хотя бы то пусть усвоит, что отец его не преступник, не враг, а честный, достойный человек.

- Отсюда следует, что преступники - другие... Сказав "А", нужно назвать "В".

- Что ж, пусть делает выводы сам. От жизни не убежишь!

Когда мы вернулись к столу, наши женщины обсуждали свои наболевшие вопросы, и не менее эмоционально.

- Я люблю и думаю об обоих: муже и сыне, - говорила Марья Леоновна... - Понимаю, что им следовало бы быть вместе. И, если говорить откровенно, то остаться здесь с Ваней для меня вовсе не смертельно: можно взять письмо от Союза художников в местное Красноярское отделение, наверняка помогут. И мужу найдется приличная работа, и

мне... Но, видимо, я безнадежная эгоистка, раз не в силах бросить Москву, отказаться от выставок, друзей, налаженного быта. Всех, и себя прежде всего, я убеждаю, что Витя не может бросить свою спецшколу, ведь у него, как уверяют, большие математические способности. Но в глубине души понимаю, что есть вещи поважнее, чем спецшкола и Московский университет... Вот вы же не раздумывали долго? Как я слышала, готовы хоть сейчас переселиться с детьми к мужу? И я завидую вам, вашей решительности.

- Но мне ведь почти нечего терять! - воскликнула Таня. - Не знаю, как бы я поступила на вашем месте? Девять лет, со дня первого ареста мужа, мучаюсь одна с детьми. Свет в окошке увидела только в последние три года, когда его выпустили ненадолго. Хуже, чем до сих пор, мне нигде не будет. А с мужем, я уверена, мы поднимем детей, и я не буду волноваться за их будущее.

- Да, вы правы. Я тоже все брошу. Но не сейчас... Возможно, в будущем году... Сейчас я не готова...

Вмешался Королев:

- Кончай терзаться, Машенька. Сейчас я тебе остаться и сам не позволю. А до будущего года давай доживем сначала. Выпьем-ка, милые женушки, за вас и вашу любовь. Чтобы с вами не разлучаться подольше!

Мы чокнулись.

- Спасибо, дорогой! - растроганно сказала Марья Леоновна: - Выпьем, и правда, а после споем, как в молодости.

Мы замечательно провели остаток дня и вечер. Пели революционные, военные песни, потом танцевали под патефон и снова пели.

- Ах, Иосиф, - обнимал меня за плечи Королев, - как я завидую тебе, что тебя ждет живое конкретное дело. Когда ты окунешься в свою работу, да еще с семьей соединишься, тебе будет наплевать на всех властителей мира. Ты пойдешь своей маленькой тропой и будешь счастлив.

- А я, дорогой Иван Дмитриевич, завидую твоему таланту, образованности, знанию языка. Я бы на твоём месте, давно забросил суетные дела и засел писать книгу. Ведь кто-то должен рассказать о наших мытарствах. Хотя бы напомнить о тех, кто вызывает из безымянных своих могил! Рассказать правду! Не многие способны это сделать. Ты - да! Сам все видел, пережил - тебе и карты в руки. Вот дело на всю жизнь - берись не пожалеешь!

- Увы, Иосиф, я не писатель. Был когда-то неплохим журналистом, но очень, очень давно. Боюсь, не справлюсь теперь, когда то и дело одолевает хандра и опускаются руки. Соответственно, наверное, ослабло и перо?

- В таком случае, выпьем за то, чтобы укрепить твой дух!

- С удовольствием. Это значит, опять за них - вдохновительниц! Так получается, тем более, у меня есть большое желание выпить за твою жену. Между нами: чудная женщина, тебе необыкновенно повезло в этом вопросе.

- Мужчины, кончайте пить! - послышался отрезвляющий голос Марии Леоновны. - Полюбуйтесь на них, Танюша, они уже тепленькие!

- А вы присоединяйтесь к нам, девочки. Живем один раз. Авось не все еще потеряно, что-то и отколетса впереди! Не хотите? Как хотите! Мы с Моисеичем тогда покурим на крылечке. Подышим, так сказать, свежим дымом... Ух, как хорошо! Тихо, свежо... Сказать по правде, Иосиф, плакать хочется. Уедут они, чем буду жить? Не представляю, как останусь один. Молчу, а душа разрывается. Что буду делать?

- Иван! - горячо повторил я. - Берись за книгу! Оставь все сомнения - начинай! Работа наполнит смыслом твою жизнь. Все поможем, напомним, кто жив. Разные лагерные эпизоды, случаи вспомним. Замечательная может получиться вещь - философская, поучительная. Взять хотя бы последние события; нашу жизнь в лесхозе, споры с Макаровым,

Ануфриевым. Каждый, если подумать, особый мир со своим собственным видением! Я бы и сам взялся писать - будь у меня хоть какие-то данные. Но, сам знаешь, как я слаб в русском. А ты журналист. Пробуй! Очень надеюсь, что прочту первым...

- Ладно. Может, ты и дело говоришь? - ответил он уклончиво. - Надо подумать!

Спать мы легли уже под утро. Назавтра Королевы вызвались нас провожать, и мы еще несколько часов в разговорах пробродили по улицам Казачинска. Прощались с ними, как близкие родные люди...

21. ПЕРЕЕЗД РАЗРЕШЕН

Все мысли Тани были теперь о детях: как они там одни, здоровы ли? Поэтому даже разговоры о трудоустройстве отошли на второй план. На обратном пути ей снова предстояло побывать в Красноярске у инспектора по сортоиспытанию, а затем на сортоучастке под Канском. Как-то там повернется? Мы условились, что после Канска она мне сразу напишет.

15-го августа я посадил ее на пароход. Было одиноко и тоскливо, когда, бурля винтом, пароход стал медленно отчаливать от пристани. Танина закутанная в плащ фигурка на палубе постепенно удалялась и уменьшалась в размере, пока не растворилась в белом шлейфе от пароходной трубы. Я уныло побрел от пристани.

В тот же день я вернулся в совхоз. Оба моих напарника - Яша Гольдштейн и Сергей Макаров продолжали там работать. Они накинулись на меня с недоуменными расспросами:

- В чем дело? Почему вернулся?

Пришлось объяснить, что придется ждать, быть может, месяц или больше, поэтому и приехал. Ждать в одиночестве мне в Казачинске нелегко.

- Правильно сделал! - одобрил, выслушав, Яша. - Что толку маяться, когда от тебя ничего не зависит? Жена у тебя боевая, положишься на нее. Она наверняка все устроит.

- Дай-то бог! - буркнул я со вздохом. - Вы тут как?

- Да вот: загораем, купаемся...

- Курорт? - хмыкнул я недоверчиво...

- И работать некогда! - подтвердил Макаров. - Разве что между купаниями.

Конечно, это была не более чем шутка. Уже на следующий день я взмок отнюдь не от купания. Прежде чем удалось окунуться в речку, пришлось не раз и не два облиться потом. Мы были на подхвате: то грузили ящики с ранним картофелем, то рубили капусту, то направлялись на скотный двор. Вскоре я получил письмо от Тани. Она побывала с инспектором на сортоучастке под Канском, и там ей понравилось. Большое село, через него проходит старинный сибирский тракт, есть дом для жилья с конторой, есть работа обоим. Одним словом, она дала инспектору свое согласие. Собирается по приезду начать сдавать дела, готовится к переезду. На это уйдет, по-видимому, не меньше месяца. Инспектор Середа обещал тем временем ходатайствовать обо мне перед органами.

Не было часа, чтобы я не думал теперь о переезде. Целые дни, ворочая тяжелые мешки и ящики, прокручивал в своем воображении ситуации у Тани и детей, на плечи которых опять свалились хлопоты и мытарства дороги. Как не хватает им сейчас крепкой мужской поддержки, как нужен им я! И оттого, что я ничем не могу отсюда помочь, приходилось только скрипеть зубами и заглушать свое бессилие работой, точно водкой.

Вскоре меня назначили экспедитором. Я не только грузил, но и сопровождал машины с урожаем в районный центр, ссыпал его там в Заготзерно или сдавал на склады и базы. Работа несложная, и хорошо отдыхалось в пути. Заработок был вполне сносный.

25 сентября я получил телеграмму от Тани, что она с детьми выезжает поездом, еще через пять дней - уведомление о прибытии на место.

С этого момента я уже не мог продолжать работать. Друзья советовали не дергаться, терпеливо ждать решения. Но я взял в совхозе расчет и уехал в Казачинск. Мне казалось, что там я много быстрее получу разрешение на переезд. Бездействие было непереносимо.

Увы, вся моя активная роль в Казачинске свелась к ежедневным обращениям к коменданту с вопросом, не поступило ли какого-либо распоряжения на мой счет? На что он неизменно отвечал, что нет, не поступило, а если поступит, то он тотчас сам известит меня. Он был, как видно, неплохой человек и незлобиво относился ко мне. Когда я слышал: - "Ничего нового, может быть, завтра..." - то не ощущал в его голосе раздражения. Но все равно торопливо опускал голову и удалялся. По ночам мучила бессонница. Я вставал чуть свет, долго бродил по непробудившемуся Казачинску. И, наверняка зная, что опять иду впустую, с униженным нетерпением заглядывал в утренне-свежее, чуть припухшее со сна, лицо являвшегося начальства.

Остановился я у Королева. Его жена и сын давно уехали. В комнате было пусто, неуютно, полно окурков. Кровать хозяина не заправлена, на столе остатки еды, невымытая посуда. Сам Иван Дмитриевич обрюзг, зарос щетиной, на ней неопрятными пятнами выступила соль ранней седины. Он нигде не работает, почти не выходит из дому, а весь день лежит поверх одеяла и читает. Но часто рука с книгой вдруг откидывается, взгляд немигающе устремляется в потолок. Я знаю, что в этот момент он вспоминает о жене и сыне, стараюсь не тревожить и не отвлекать его. Разговора о сочинительстве больше не завожу. Бессмысленное дело при таком настроении. Может быть, позднее, когда он обретет какое-то спокойствие?

Сам я не могу даже читать. Единственное, что меня спасает - я не сижу на месте. То нанимаюсь на пристани выгружать

баржи, то отправляюсь к складам Заготзерна, где высматриваю подъезжающие машины с зерном. На одной-двух могут быть кто-нибудь из друзей: Макаров или Гольдштейн. Завидев их, кидаюсь помогать разгружать. Выполнив работу, мы выкуриваем по сигарке, иногда распиваем бутылку, закусьиваем. После их отъезда я снова возвращаюсь в Казачинск, брожу по берегу всегда оживленного Енисея. Это лучше, чем томиться в обществе Королева. Два месяца назад мы оба были полны радужных надежд. Он был весел, жизнерадостен, и вот за короткий срок переменялся неузнаваемо. Совсем другой человек! Впрочем, и я недалеко от него ушел. Не надежда, а тревога гложет сердце. Королева еще можно понять: он опять остался один, и, по крайней мере, до лета ему не будет облегчения. Но у меня впереди радостные перемены, за меня хлопочут, вот-вот приеду к семье. Казалось бы, наберись терпения, жди спокойно. Увы, спокойно не получалось.

Чтобы отвлечься от неопределенности ожидания, я устроился на лесопилку. Кончался сентябрь, начались утренники. Но на мне был теплый ватник, и я не чувствовал холода: целый день задвигал под нож бревна и снимал доски разных размеров. Труд - великий исцелитель. Уже к вечеру первого дня я успокоился, в душе забрезжили какие-то надежды.

Вечером, бодрый и уставший, я уговаривал Королева последовать моему примеру. Он сначала отмахивался: отстань, какой с меня работник? Все же утром поднялся вместе со мной, вяло заправил постель. Мы кое-как прибрали в комнате, позавтракали молодым обжаренным картофелем, запивая его кислым молоком. Я ушел один, но, о чудо, часа через два увидел его запахнутую в пальто фигуру у себя на лесопилке. Работать он, разумеется, не стал, гордость не позволяла, но пол-дня провел рядом со мной в разговорах. Разговоры он вел, в основном, о ближайших планах.

Он пришел к выводу, что ему, действительно, следует начать писать. Кое-что в голове уже прорисовывается. Ведь он не просто валялся с книжкой на кровати, а обдумывал, вспоминал свою жизнь. Некоторые его жизненные перипетии, на самом деле, могут оказаться поучительными для молодежи. Он уже и первые наброски сделал. Книга будет в форме беседы отца с сыном. Больше пока ничего не скажет. Он суеверный. Вот когда что-то начнет получаться, тогда другое дело. Я буду первым его читателем.

Что ж, я доволен. Хорошо уже, если он просто поднимет голову, почувствует вкус к жизни. Ну, а получится книга, буду рад за него. Сам к тому времени наверняка уже буду в другой - удивительной и свободной жизни. Тем интересней будет прочесть о себе в прошедшем времени.

И когда в первых числах ноября меня неожиданно вызвал комендант, я понял, что это сигнал из той новой, будущей жизни. Она глядела на меня в виде четвертинки казенной бумаги, которую торжественно протягивал мне мой благодетель. Я скосил глаз и прочитал, умеряя разгоняющийся перестук в сердце:

"Переезд разрешаю".

22. УСТЬЯНСК

Итак, я получил разрешение на переезд. Место новой дислокации - Абанский район, село Устьянск, 40 километров к северу от Канска на Транссибирской магистрали. Разумеется, это не свобода: у меня по-прежнему статус бессрочного ссыльного. По прибытии я прежде всего обязан стать на учет в комендатуре и в дальнейшем регулярно являться для отметки. Но какой же это пустяк в сравнении с главным! Я буду с семьей, и работа обещает быть интересной. О большем я и думать не смел.

Перед отъездом мы собрались у Королева. Приехали Макаров и Яша Гольдштейн. Оба по-прежнему работали в совхозе, но приближалась зима, и перед ними снова стоял вопрос: куда податься? Скорее всего, опять светил леспромхоз, дровозаготовки.

Позвали и Ануфриева. С архивом дело у него неожиданно лопнуло, нашлись на место другие претенденты, из вольных Ему, бесправному ссыльному, тягаться с ними было не по силам. Жена уехала к дочери в Красноярск. Но, по словам Бориса Владимировича, он не отчаивается и не бедствует пока. Надеется на перемены. Он явно бодрился, но было очевидно, что подсекли его основательно.

Пытались отыскать также Моисеева, но оказалось, что он где-то в районе, в глубинке, где конкретно, не удалось выяснить. Особенно, впрочем, и не искали.

Мы устроили складчину. Главным инициатором был

Королев. Каждый принес вина, закусок. Пили и ели вдоволь. Но почему-то на сей раз не было песен, сердечности и откровений. Что-то препятствовало открытости. Вдруг я понял, что нас уже ничто не связывает. Пожалуй, в данный момент объединяю всех только я. Мне они интересны, но друг другу - вряд ли. Скорее всего, после моего отъезда забудут друг о друге. И потому провозглашаемые тосты полны скорее безнадежности, чем оптимизма.

Сергей Васильевич Макаров: - За твоё здоровье, Иосиф! Ничего другого не желаю. В нашем положении трудно рассчитывать на большее.

Ануфриев: - За здоровье твоей жены. Она замечательная женщина. За счастливую семейную жизнь!

Один Королев попытался внести "бодрую" струю: - А я предлагаю выпить за успех. Какие его годы? Все впереди. За твои успехи, дружище!

Пожелание вызвало неожиданную дискуссию.

- О каких успехах идет речь, если не секрет? - иронически спросил Макаров. - Уж не о трудовых ли, звонкотрубных?

- А почему бы и нет? - вступился я за товарища. - Я, в самом деле, собираюсь кое-что еще успеть сделать. Попытаться вывести новые сорта, поправить дела в агротехнике.

- Вы еще полагаете, что в наших колхозах можно что-то поправить?

- Надеюсь на это, по крайней мере. Перед последним моим арестом мы довольно успешно работали с женой. Почему бы и на новом месте не попытаться?

- У тебя короткая память, Иосиф. Ты уже забыл, что стоило тебе поднять голос против колхозных воришек, как они тебя едва не уничтожили. И после этого ты на что-то надеешься?

- Да! Потому что сделал для себя очень важный вывод. Нам, бывшим зекам, не следует лезть в политические драки. Добросовестно делать свое дело и - только. Уверен: найдутся люди, которые нас заметят и поддержат.

- Представляю, как "независимо" ты себя будешь при этом чувствовать. Весь в ожидании того снисходительного внимания, которое авось снизойдет сверху. С каким трепетом будешь ловить взгляд вышестоящего начальства, когда оно соизволит показаться. Прямо скажу: не завидую! А каково будет жене? Или детям? Кем вырастут они, если отец у них останется угнетенным?

Я пожал плечами: - Вырастут - пойдут работать. Не беспокойся: будут жить не хуже других.

В разговор вмешался Ануфриев: - Но ведь, в самом деле, Иосиф, какой интерес работать в колхозе, среди бесправных людей? Чем можно увлечь рабов? Не понимаю.

Я взорвался: - Вы никогда не жили в деревне, как же беретесь судить о ней? Заявляю, что в деревне работать можно и должно с интересом, плодотворно. Имею право это утверждать, потому что сам так жил. И миллионы людей в мире сеют, строят, двигают вперед науку, не вмешиваясь в политику. От этого жизнь их не становится менее интересной. Я буду жить, как они: прошлое свое зачеркну и... забуду. Счастье не обойдет меня.

- Счастье? Но счастливы у нас те, в чьих руках власть. Не забывай, что ты не на Западе.

- Боже мой, Запад! Вы там жили? А я жил в Италии, в Турции, насмотрелся досыта. Видел нищих, безработных. Вам отсюда кажется, что все на Западе богаты и счастливы. На самом деле, иметь гарантированную работу, бесплатную школу - то, что для нас здесь само собой разумеется, - на Западе предел мечтаний. Мы твердим о страхе, несвободе, но забываем, что страх потерять работу есть высшая несвобода.

В разговор вмешался Гольдштейн. Он, как всегда, был мудр и рассудителен, как Соломон:

- У тебя, Иосиф, в голове сейчас понятная эйфория. Проще

говоря, сумбур из надежд, проектов, фантазий. Пусть десять процентов твоих планов сбудется - и можешь считать себя счастливым. Что касается Запада, то там за четверть века многое изменилось. Он уже не тот, каким мы его с тобой помним. Не надо его идеализировать, но и умалять многих достижений тоже не стоит. Например, мощной силой стали профсоюзы - у нас их по существу нет. Но не будем развивать эту тему. Мы желаем тебе исполнения своих желаний, успехов в делах, семейного счастья, здоровья. И поменьше разочарований. Счастливого пути тебе, дорогой! Не забывай друзей, пиши!

С этим напутствием друга я выехал из Казачинска. Мне было весело, светло на душе. Как раз исполнился год со дня моего последнего ареста. Кажется, я вырываюсь, наконец, из неволи. Никто не заставит меня больше поступать против совести. Я буду честно работать, воспитывать детей. Жить достойно, полнокровно. Какое счастье, что мне не придется таиться перед ними!

Канск я не успел разглядеть даже бегло. Едва оказавшись на вокзале, наткнулся на грузовик, отправлявшийся в сторону Устьянска - цели моего следования. Я быстро договорился с шофером.

Дорога заняла весь остаток дня. Мела поземка. Местами дорога оказалась переметенной снегом. Мы несколько раз останавливались, откапывались. Наконец, выкарабкавшись из очередного затяжного подъема, увидели внизу большое сибирское село. На протяжении всего пути других населенных пунктов не встречали ни разу и потому сильно обрадовались. Дома плотно жались друг к другу, и почти из каждого уютно тянулся к небу столб белого дыма. Я подумал, что, наверное, только так локоть к локтю, можно выжить в этой заснеженной пустыне.

Остановились в центре села. Я рассчитался с шофером и

огляделся. Рядом с чайной - большой бревенчатый дом конторы колхоза. Дальше по тракту крутой спуск к реке и мост. С изворота видны его бревенчатые быки. Чайная переполнена. В основном, шофера, всякий проезжий люд. Я спросил, где контора сортоучастка. Она оказалась неподалеку, через дом от конторы колхоза.

Не успел я повернуть большое кованое кольцо на калитке, как та сама передо мной распахнулась, и я увидел сияющее лицо Тани.

- Иосиф! - радостно воскликнула она. - Я увидела тебя в окно. Вот уж не ждали сегодня.

Мы обнялись. Я с любопытством осмотрелся. Большой дом пятистенки. Просторный двор с амбаром и навесами. Во дворе - телега, пролетка, засыпанное снегом навесное оборудование для трактора. В доме - кабинет заведующего, лаборатория, какие-то подсобки. Одна дверь оказалась запертой.

- Здесь будет наша квартира, - пояснила Таня. - Пока мы снимаем комнату в другом месте. Идем туда, отдохнешь. Это недалеко.

Маленький крестьянский дом был засыпан снегом по самые окна. Хозяева - старик да старуха - встретили нас приветливо. В избе две комнаты, наша большая, горница. Таня покормила меня остатками обеда. Мы немного отдохнули, а затем она ушла, оставив меня одного. Я уснул, впервые за много недель на белой простыне и мягкой подушке, пахнущей таниными волосами.

Я проснулся от какого-то шушуканья. Осторожно приоткрыл один глаз и обнаружил, что комната населена. Какие-то личности ходили на цыпочках и переговаривались шепотом между собой. Белобрысый широкоплечий парень с хмурым настороженным лицом от двери сосредоточенно смотрел на меня. На вид ему можно было дать лет семнадцать.

Еще один хлопец, поменьше, шнырял взад вперед мимо него. Кажется, между ними назревала потасовка. Ее явно провоцировал младший. А у изголовья кровати бесцеремонно разглядывала меня в упор девочка в белом школьном фартуке. Она была похожа на маленькую собачку, замершую в настороженной стойке. Вся эта публика мне явно кого-то напоминала. Я никак не мог сбросить с себя оцепенение, мешавшее вспомнить: кого же?

И тут мне ударило в голову: да ведь это же мои дети! Боже, как они выросли! Не дети - вполне взрослые молодые люди! И они - мои?!

Мне было стыдно моей худобы под простыней, не очень свежей майки, черных ногтей, которых не замечал раньше. На меня смотрели три пары широко раскрытых глаз. Я улыбнулся, и сразу испуганно-восторженно вспыхнули в ответ как минимум две из них.

- Ты - мой папа! - смело сказала Кларочка, нарушив молчание. Я кивнул и протянул к ней руки. Она доверчиво прижалась ко мне. Я увидел, что это уже довольно большая девочка. Вспомнил, что пятиклассница. Но все же это был ребенок, мой ребенок.

Я торопливо оделся. Одного только движения руки, неловкого касания к вихрам оказалось достаточно, чтобы и Изик проникся ко мне доверием. Он схватил мою треплющую ладонь и долго не хотел отпускать. За другую мою руку крепко держалась Кларочка, а от двери, опершись на косяк, снисходительно смотрел на несерьезную эту возню старший, Наум. Я не знал, как к нему обратиться. Поколебавшись, протянул руку:

- Здравствуй!

- Привет! - ответил он басом.

С улицы вошла Таня, разгоряченная и веселая. Очевидно, мое замешательство бросилось ей в глаза, потому что она ринулась мне на выручку:

- Проснулся? Поздоровались? Какое счастье: вся семья в сборе!

Так начался мой первый день в Устьянске. На следующее утро я принялся более основательно осматривать хозяйство. Первым делом пошел в конюшню, вывел из-под навеса закрепленного за сортоучастком вороного коня и хорошенько рассмотрел его со всех сторон. Конь был гладкий, сытый и доверчиво смотрел на меня спокойным умиротворенным взглядом. Мягкими подвижными губами потянул с ладони дразняще-аппетитную хлебную корку. Я тщательно очистил поднавес, до блеска надраил сбрую, напоил и накормил Воронка.

Вдруг поймал себя на том, что машинально ласково поглаживаю его по холке, как бы осознавая, что приобрел верного и надежного друга. Всего в конюшние сортоучастка содержалось до пятнадцати лошадей, за ними смотрел одноногий конюх Рогов Николай Иванович, инвалид войны. Посасывая сигарку, он с юмором поведал мне об обстоятельствах потери ноги на фронте. По его словам, его даже не ранило, а элементарно обморозило: в тридцатиградусный мороз пришлось залечь в снег под огнем, а был в обмотках, и огонь такой, что головы не поднять. Вот и получилось, что хотя он коренной сибиряк, для которого и 50 градусов не диковинка, а ногу пришлось отнять выше колена.

После обеда решили переезжать на новую квартиру. Пока я беседовал с конюхом, Таня скребла, мыла в конторе, мальчики едва успевали подавать и менять воду. Когда мне позволено было войти, там все сияло свежестью и чистотой. Кабинет заведующей выглядел строго и официально: большой письменный стол у окна, на нем настольная лампа, вдаль одной стены застекленные шкафы с книгами, у другой - пузатый канцелярский диван черной кожи. Смежная с кабинетом комната - лаборатория. Здесь длинный само-

дельный стол, вдаль него с обеих сторон - скамейки. На столе аптекарские весы, набор стеклянных колб, другая лабораторная посуда, пакеты с семенами. В долгие зимние вечера, как мне объяснила Таня, здесь сортируют, взвешивают, проверяют на всхожесть семена, ведут их отбор для будущих опытных посадок.

Жилая комната - самая меньшая из всех. Нам удалось втиснуть в нее только две кровати: нашу и кларочкину. Мальчикам решили стелить пока на диване в кабинете.

Все равно, роскошно, по моим понятиям, жилось тут нашей предшественнице Валентине Петровне, у которой Таня недавно приняла дела. Со стены в лаборатории на меня смотрела фотография бригады, в центре которой она, яркая, вызывающе красивая женщина с озабоченными глазами. Говорят, у нее в районе был высокий покровитель - председатель райисполкома Бородин. Благодаря ему она и получила от колхоза этот великолепный дом, бригаду из 25 человек, плодородный участок земли, 15 лошадей. Среди них лично ей принадлежавший породистый красавец Воронок, на котором она любила ездить верхом.

Работала она неплохо, дело свое знала и любила, но личная жизнь у нее не складывалась. Молодая женщина, она часто наезжала в райцентр, где, как могла, пыталась устроить свою судьбу. Но серьезные мужчины были, как правило, устроены, дальше обычных любовных приключений планы их не простирались. Однажды она привезла мужчину с курорта. Через некоторое время в Устьянск явилась его законная жена, закатила грандиозный скандал, причем не ограничилась Устьянском, а направилась напрямиком в райком партии. Наказание последовало суровое: Валентину Петровну исключили из партии и сняли с работы. Злые языки поговаривали, что инициатором исключения был председатель райисполкома Бородин, разобиженный ее изменой. Правда, бюро обкома партии вскоре вернуло ей партбилет, но уехать из района ей все же пришлось. Для Тани же счастливо

образовалась вакансия. После ужина утомившаяся хозяйка отправилась с детьми спать, а я остался в кабинете. Просматривая в книжном шкафу корешки книг, наткнулся на отчет о сессии ВАСХНИЛ 1948 года и стал его листать. Здесь громили генетиков, менделистов-морганистов. Крупнейшее светило в сельхознауке академик Лысенко доказывал, что царь природы - человек - способен переделывать растительный мир по своему усмотрению. Это показалось мне жутко интересным. Я стал читать отчет о сессии как увлекательный роман. Но, в конце концов, знаний моих оказалось недостаточно для понимания. Трудно было ориентироваться в специальных научных терминах, всех этих генах и хромосомах, мухах-дрозофилах и прочих премудростях. Я дал себе слово, что займусь агрономическим самообразованием. Таня поможет, она дока в этом деле. А, может, удастся поступить заочно в сельскохозяйственный институт или техникум?..

С дивана, где лежал Наум, упала на пол раскрытая книга. Я поднял ее. "Анна Каренина"! Начал читать на раскрытой странице: "...Работа кипела. Пряно пахнувшая трава ложилась высокими рядами. Теснившиеся по коротким рядам косцы..."

"Левин, сцена косьбы!" - подумал я с радостным узнаванием. Так встречаются доброго старого знакомого. Когда-то в молодости я с увлечением читал этот роман и хорошо помнил его сюжетные линии: Анны и Вронского, Левина и Кити. Но сейчас не мог оторваться от захватывающе-интересной сцены труда. Простые понятные слова, легко узнаваемые движения, запахи, ощущения, и когда я читал о Левине: "Он ни о чем не думал, ничего не желал, кроме того, чтобы не отстать... он слышал только лязг кос, видел медленно и волнисто склоняющиеся травы... головки цветов около лезвия своей косы...", мне нестерпимо хотелось, чтобы наступила скорее горячка лета. Я решил про себя, что обязательно приму участие в сенокосе - испытаю те же ощущения, что и Константин Левин.

23. ОБРЕЧЕНЫ НА УСПЕХ

Сразу после праздника в контору явился бригадир Балышев Андрей Дмитриевич - немолодой, уверенный в себе бородатый мужик, похожий на Ермака. Он был в длиннополой шубе, подпоясанный широким солдатским ремнем, в мохнатой шапке с опущенным ухом. Войдя, сгреб с головы ушанку, соединил с парой огромных собачьих рукавиц и сунул себе подмышку. Выпрямился и громогласно поприветствовал хозяев: - Здорово живем!

Перестановки, что произошла в доме за вчерашний день, не укрылись от его взгляда, - ведь он бывал здесь чуть ли не каждодневно. Заприметив в лаборатории кларочкину кудрявую голову, высказался неодобрительно:

- У Петровны лаборатория была - святое место! Посторонних она туда - ни-ни. Как бы эта птаха все колбы не побила!

Таня торопливо вытолкала дочку в спальню.

- Ну, ты тут без меня одна управляйся, - властно приказал ей бригадир, - а я поехал назем возить. Зима большая, но начинать надо!

- И я с вами! - обрадовано предложил я. - Хоть поле посмотрю.

- Годится! - охотно согласился он. - Мне в общем-то раскатывать некогда. Покажу тебе раз дорогу, дальше сам сопровождать будешь.

На скотном дворе двое подростков грузили в сани дымящийся навоз. Пока они накладывали, Андрей Дмитриевич объяснил мне, как распорядиться пахучим грузом: который покалорийней, пожирнее - выгружать в поле, а соломистый, не перепревший еще - на парники. Сколько его грузить в сани, чтобы не надорвать лошадей, как располагать кучи в поле. Балышев важно топтал валенками снег и распоряжался, а я про себя улыбался. Потому что он мне нравился, этот уверенный в себе мужик, возмнивший себя Наполеоном. Пусть себе покомандует!

Мы рассаживаемся: Балышев в первые сани, я - в замыкающие, и обоз трогается. До поля километров семь. Выгружаемся на паровое поле. В нем 15 гектаров, и на каждый нужно вывезти 40 тонн навоза. Всего же по плану севооборота таких полей восемь.

Это я уже знаю. Задача непростая, дай бог успеть за зиму.

Разгрузившись, мы подъехали к заимке, что темнела на краю поля. Она оказалась довольно обширной: летняя конюшня, гумно для урожая, пасека, дом из двух половин: для бригады и для сторожа. Сейчас обе заколочены досками, на дверях ржавые замки. Мертво, пустынно. Только свежий санный след обоза оживляет почти космический пейзаж.

- А летом здесь весело! - Балышев всю обратную дорогу расписывает летнюю благодать. - Не жизнь - рай: молодняк по вечерам глотку дерут, танцуют. Внизу речка, ребяташки рыбалкой балуются. В лесу земляники полно, а податься к вырубкам - и малиной разживешься. Домой только в баню ездим. Хорошо! Иногда с ног к вечеру валишься, а все равно хорошо! Я за что опытную работу люблю? За дотошность. В колхозе потери колоссальные, а у меня душа с этим мириться не желает. Здесь же у нас все до колоска подбирается. Даже порченное. Иначе правильной картины не получишь. Солому и ту взвешиваем, промеряем. Это по мне!

- Андрей Дмитриевич, вы давно тут обосновались?

- Да с рождения. Правда, родился я не совсем тут. Рядом - в Иланском районе. В Устьянске живу уже лет тридцать. Работал в колхозе конюхом, воевал. Два года назад Валентина Петровна организовала сортоиспытательный участок, позвала меня к себе. С тех пор здесь и бригадирствую.

- Вас устраивают условия?

- Вполне. Тут вся бригада крепко держится за место. За два года никто не ушел. В прошлом году мы получили по два килограмма хлеба на трудодень, то есть вдвое больше, чем в колхозе. Валентина Петровна каждому выделила сенокосный участок, помогла в заготовке дров, сена. Со своей стороны, мы тоже работали на совесть.

- Надеюсь, мы с вами тоже сработаемся. Будете получать никак не меньше! - поспешил заверить я.

- Дай-то бог! Да только Валентина Петровна имела поддержку в районе. Там у нее дружок был - чуть ли не сам первый секретарь. Вам-то потрудней будет, пожалуй...

Когда въехали в село, он указал на свой дом: - Здесь вот живу. Кстати, по субботам топим баню. Приглашаю вас париться. Всю семью приводите, места хватит!

- Не откажусь, благодарю. Придем с удовольствием.

Дни покатались в трудах и заботах, похожие один на другой, но и бесконечно разнообразные, интересные. Я вставал рано, затемно кормил, запрягал коня и уезжал с обозом на участок. Сибирские морозы крепкие, нередко с вьюгами и снегопадом, но одеты мы тепло, лошади сыты и надежны, едем почти в любую погоду. Редко бывают такие морозы, что остаемся дома. Зима здесь устойчивая, морозы сухие, безветренные, я их переношу легко. Обычно захватываю с собой вилы и вместе с парнями раскидываю навоз.

Иногда Таня поручает мне привезти монолиты озимых или многолетних трав. Я беру с собой лопату, кайло, топор,

очищаю с их помощью какой-нибудь квадрат от снега, а затем вырубая монолит для анализа. В непогоду вся бригада в конторе: Таня проводит занятия по агротехнике. Я тоже достаю свою тетрадку.

Мы сидим за самодельным длинным столом в лаборатории, с багрово-размягшими от жарко натопленной печи лицами и внимаем каждому слову своей наставницы. Я не могу в эту минуту не восторгаться Таней: так понятно, складно она объясняет, такие интересные вещи рассказывает о зернышках, листиках, корешках, горками возвышающихся на столе, секретах их строения, особенностях роста, влиянии солнца, соков земли, воздуха. И становится ясной роль всех этих селитр, фосфатов, аммониев, и что такое гербициды, и зачем яровизация, и смысл понятия "вегетационный период", и многое-многое другое, о чем я слышал раньше, но не всегда понимал, словно это была иностранная речь.

В субботу к вечеру приезжают из райцентра сыновья, там они учатся в школе-интернате. Нагрузившись свежим прохладным бельем, отправляемся к Балышеву в баню. Сам Андрей Дмитриевич парится долго и истово, напустив столько пару, что дух захватывает. Он кряхтит, стонет, хлещет себя сразу двумя вениками, распаренными в кипятке. Воздух над ним дрожит и колыхается, и невозможно распрямить спину - уши сворачиваются от жара как листья на огне. Не успеешь присесть - сгоришь заживо. Нажарившись вволю, пропитавшись огнем до последних хрящиков, он сползает на дощатый, из широких толстых плах, пол. Весь дымящийся, как головешка, распахивает дверь в предбанник.

Теперь наступает черед мой с ребятами. Поначалу мальчики мои жмутся к полу, к спасительному ковшу с водой, но вот младший, Изик, осторожно выпрямляется и какое-то время терпит, держит жар. И тогда Наум, отбросив всякую осторожность, решительно взбирается на полки и начинает

хлестать себя веником. Жар, разумеется, уже спал, но оба этого не замечают - им кажется, что вовсе не ослабевший жар, а они сами, их могучая негибкая воля позволяют выстоять. И вот я уже слышу:

- Поддай, папа!

В общем, после бани мы чуть-чуть не те, что были раньше: здоровее, взрослее, мужественней. Балышев наливает мне полстакана мутного, кисло пахнувшего самогона, а моим парильщикам - сладкой медовушки. Тем временем в баню отправляются женщины, с ними - Таня с Кларочкой.

Домой идем всей семьей, кружка молока, запах дымящейся горячей картошки на столе кажутся блаженством, подлинным богатством. На завтра воскресенье - день шумный, хлопотливый. Сыновья с утра на улице. Сначала пилят-колуют дрова, затем исчезают с лыжами. Появляются только к обеду - вываливающиеся в снег, возбужденные, проголодавшиеся. После обеда начинаем готовиться к их отъезду. Даем с собой продуктов на неделю, Таня осматривает, чинит потрепанную одежду. Когда сборы закончены, я выхожу на тракт ловить попутку. Договариваюсь с шофером об оплате, привожу ребят, прощаемся. До следующего выходного. Раньше они приезжали лишь по праздникам, но теперь, когда я здесь, спешат домой каждый выходной.

В селе полно ссыльных, но ни с одним близко я не познакомился. Регулярно отмечаясь в комендатуре, с некоторыми раскланивался, перебрасывался ничего не значащими фразами. Но не хотелось возвращаться к политике, к терзающим душу бесконечным разговорам об обидах, несправедливостях. Мне дорог был кое-как обретенный душевный покой, мир в семье и в себе самом. Я и газет почти не читал, старался напрочь отгородиться от треволнений большого мира. Жил интересами семьи, села.

Однажды Кларочка затащила нас в клуб, где крутили

старый фильм "Путевка в жизнь". Когда-то, лет 20 назад, я видел эту картину. Она произвела на меня сильное впечатление. Мы и сейчас с интересом ее смотрели. Впереди сидели несколько человек, одетых по-городскому, по-видимому, ссыльные. Одна женщина повернулась лицом к своей соседке, лицо ее показалось мне знакомым. Я уперся в нее взглядом пытаясь разглядеть повнимательнее. И вот снова увидел знакомки профиль, некогда смоляно-черные, а сейчас полуседые волосы, характерный наклон головы. Узнал! Это была Фрида, моя палестинская подруга молодости. Можно сказать, первая любовь. Она, конечно, изменилась, но все-таки это была она. С этой минуты я с нетерпением ждал конца сеанса. На выходе из клуба я осторожно взял ее за локоть, наклонился к уху:

- Фрида?

Она вздрогнула, вскинула голову. О, этот взгляд темных распахнутых настежь глаз, так знаковый мне! Но неужели я настолько постарел, что меня невозможно узнать?

- Это ты, Иосиф? Неужели? Вот так встреча!

- Зайдем ко мне, я тут живу неподалеку. Моя жена, Таня, познакомься.

Фрида помахала рукой своей компании и осталась с нами. Когда-то в Палестине мы были с ней в одной партийной организации. Она работала медсестрой, а ее квартира была местом явки для членов партии. У нее мы составляли листовки, готовили лозунги, транспаранты для демонстраций. Мы с ней и лично были близки, любили друг друга. Я работал на стройке железобетонщиком, сильно уставал. С ней отдыхал душой и телом. Когда оказывался в полицейском участке, она была единственной, кто приносил мне передачу.

Я был у нее в ночь перед моим последним арестом, приведшим к высылке из страны. Мы тогда отправили трех наших товарищей расклеивать листовки, они долго не

возвращались. Я решил лично проверить, что с ними. Фрида и другие товарищи меня отговаривали, но я настоял. Надел куртку и ушел. Кончилось тем, что меня схватили, арестовали в очередной раз.

Потом мы встретились с ней в Москве, через несколько лет, когда я получил назначение на Дальний Восток. Она училась в мединституте и, судя по всему, была вполне счастлива. Помню, я звал ее с собой, но она только улыбалась загадочно и мотала головой. Ясно, что ее волновал кто-то другой.

- ...Я вижу, у вас шикарная квартира, - сказала она, осматриваясь.

- Это контора сортоучастка. Мы с женой работаем агрономами. Здесь же и обитаем... Расскажи, как ты жила все эти годы.

- Еще в институте я вышла замуж. Мой муж был военный инженер, выпускник военной академии. Строил фортификационные укрепления на западной границе. В 1938-м по доносу его арестовали и расстреляли. Мы прожили вместе всего четыре года. В 1936 году у нас родился сын.

- Тебя тоже арестовали?

- Нет, тогда меня не тронули. Взяли в 49-м, после войны. Выслали в Красноярский край. С тех пор нахожусь здесь, в Устьянске. Работаю фельдшером в детдоме.

- Где твой сын?

- Он живет в семье моей близкой подруги в Болшево под Москвой. Она одинокая и смотрит за ним, как за собственным сыном. От обоих я часто получаю письма. Скучаю, переживаю за мальчика, ведь ему уже 16 лет. Боюсь за него. Он максималист, как папа, и очень легко может пострадать. Собирается летом, когда получит паспорт, приехать вызволять свою мамочку.

- Как здесь живешь? С кем общаешься?

- Живу терпимо, имею отдельную комнату в детдоме. Среди моих знакомых женщина - бывший торгпред, один ученый химик, есть еще поэтесса. Все они не работают, живут посылками из дома. Изредка собираемся у меня или у поэтессы. Они интересные люди, когда познакомишься, убедишься сам...

Фрида ужинала с нами, мы долго потом еще вспоминали нашу молодость, перебирали общих знакомых. С этого дня она стала часто бывать в нашем доме. Подружилась с Таней, привязалась к Кларочке. Я тоже с радостью общался с ней, но все же попытки познакомить меня со своими друзьями кончались ничем. Хотя я несколько не сомневался, что все они люди добропорядочные, ни разу сам не был у нее и не приглашал к себе ее друзей. Я боялся быть снова втянутым в политические дискуссии. Во все эти бесплодные разговоры о горьком прошлом и безнадежном будущем. Слишком хорошо знал, чем грозит мне очередная потеря душевного равновесия.

Я предпочитал общаться с рабочими нашей бригады - с Балышевым, конюхом Блиновым, пасечником, который с приближением весны готовил теперь свои ульи к вывозке на заимку. С ними у меня было много общих интересов. Я также прислушивался к разговорам наших женщин, которые были в большинстве вдовами, растили детей без мужей, пропавших на фронте либо в лагерях. Жили они трудно, в постоянных нехватках, но случались у них и радостные события, которыми они спешили поделиться с нами. Особенно с Таней. Мы оба были в курсе их семейных дел. Например, две девушки есть в бригаде, Лена и Маруся, и всех нас волновало их будущее.

Лена расторопная, смышленная. Маруся вдумчивая, неторопливая, обе - помощницы Тани в лабораторных занятиях. И обеим пока не везет в главном: в любви. Маруся

год назад сошлась с местным парнем, но он оказался никудышным, пьяницей. А у Лены и того нет: мужчины в селе наперечет, после армии все бегут из села, не задерживаются.

С началом весны мне и вовсе стало не до визитов. Бригада наша целиком, исключая многосемейных женщин, перебазировалась на заимку. Туда же завезли лошадей, сельхозмашины, инвентарь. Мы с Таней выезжали теперь с рассветом и находились в поле дотемна. Разбрасывали под плуг еще мерзлый навоз, подкармливали озимые, готовились к пахоте, севу.

Земля полностью освободилась от снега, подсохла. Озимые ожили, зазеленели, начали тянуться в рост. Освободилась и подсохла и проселочная дорога, по которой мы ездили в поле, зашумел ручей, заплескалось озеро за ольшаником. На поляну рядом с заимкой вывезли и расставили ульи, в них тоже загудело население.

Трактористы заправляют трактора горючим, прицепляют к одним плуги и бороны, к другим - сеялки. Таня с Леной размечают делянки для опытов. Приезжает Балышев с семейными женщинами. Начинается сев. Таня с Леной и еще двумя женщинами вручную засевают делянки горохом. Мы с Балышевым отправляемся на массив, где сев ведется тракторами, под районирование. Семена здесь используются наши же, испытанные ранее. Они рекомендованы к распространению в районе. Заканчиваем с горохом и пшеницей, беремся за гречиху, ячмень, овес, просо.

Ото дня ко дню Таня ведет наблюдения за растениями, записывает измерения в журнал. Иногда это делаю я: у нее дома масса хлопот. Недавно мы купили в колхозе стельную телку и пустили ее в стадо. Она вот-вот отелится, тогда в доме появится свое молоко, творог, сметана. Сейчас все это особенно кстати: мальчики окончили учебный год, оба дома, их кормить надо.

Наум уже совсем взрослый, закончил десятилетку, получил аттестат зрелости, собирается поступать в индустриальный институт. Нужно справиться ему костюм (первый в его жизни), собрать в дорогу. Да мало ли чего нужно человеку, вступающему на самостоятельный путь!

Подходит срок сенокоса. Вся бригада косит, ворошит, гребет, стогует. Хотя в нашей смете заложена соответствующая сумма - Валентина Петровна всегда покупала сено для Воронка - я решаю сэкономить деньги, заготовить сено сам. Беру сыновей, и мы две недели косим, ворошим, копним. Ранним утром, отбив две косы - себе и Науму - приступаю к делу. Через час уже немеют руки, застилает глаза пот. Я вспоминаю Левина, сцену косьбы в "Анне Карениной": "...Приятно пахнувшая трава ложилась..." Радостный и тяжкий крестьянский труд! Наверное, такое же ощущение испытывал мой сын. Теперь оно с ним останется на всю жизнь... В обед купаемся в озере, прохладная вода бодрит и уносит усталость. После обеда мы с Наумом ворошим, а Изик на Воронке стаскивает сено на волокуше к стогу. Мелкой дробью рассыпаются сандалины по лошадиному животу.

- Стой, окаянный! - слышится мальчишеский голос. - Опять слушаешь кого ни попадя?

Немалая доля этой тирады адресуется, увы, родному отцу, чьи воткнутые в копну вилы на секунду притормаживают уползающую волокушу. Смешно, но приходится считаться: как-никак полноценная боевая единица. Наум ведет себя солидно, по-мужски, он не позволяет себе легкомысленных мальчишеских выходок. К тому же неподалеку гребет сено шестнадцатилетняя Фрося Валышева, ее белая, с синим горошком косынка то и дело мелькает перед глазами...

И снова описывает полукружья отточенное жало косы, "пряно пахнувшая трава мягко ложится к ногам". Мои дети приносят мне немало радостных минут. Недавно, например,

был случай: кончилась махорка. Воскресенье, магазин на замке. Стал рыскать, чем бы затянуться. Опытным глазом лагерника у чайной заприметил несколько бычков. На час-два полегчало. Но дальше вид ссыльного, высматривающего что-то в центре села, мог показаться подозрительным. Ничего не оставалось, как ждать утра. Я со вздохом подавил сосущий табачный колод:

- Курнуть бы перед сном!

И тут Изик проворно выбежал в сени и через минуту протянул мне спичечный коробок, наполненный бычками. Бычки были добротные, чуть ли не в полсигареты. От коробка исходил сладкий табачный дух. Я мигом их распотрошил, свернул толстую сигарку и с наслаждением затянулся.

- Покуриваешь? - спросил сына со смешанным чувством неодобрения и благодарности.

- Нет-нет, папа. Это я для тебя насобирал. Пацаны сшибали бычки, ну и я с ними.

- Спасибо, сынок, - сказал я растроганно. - Ты настоящий друг!

С Наумом близкого контакта все же не получалось. Он большей частью проводил время на улице, либо утыкался в книжку. Откровенных разговоров с отцом избегал. На мои расспросы отвечал односложно и вообще явно тяготился пребыванием дома. Теперь наступило время прощания с ним. Он уезжал учиться в институт.

Я провожал его до Канска, но и тут он оставался замкнут, держался от меня на расстоянии. Он по-прежнему тяготился обществом своего ссыльного отца. Что ж... Я подавил вздох. Видно, впереди у нас еще долгий путь к примирению. Он не виноват. Таким его сделало время. Мы скупо попрощались.

24. И СНОВА СТЕНА

Сельскохозяйственный год мы закончили успешно. Получили приличные урожаи всех опытных культур, заготовили много сортовых семян, несколько новых сортов районировали на большой площади. В инспекции по сортоиспытанию в Красноярске нас похваливали и ставили в пример. Бригада получила не только зерно, но и впервые вырученные за сортовые семена деньги - по шесть рублей на трудодень.

Такого удачного года здесь не помнили. И, главное, он климатически вовсе не был каким-то особенно благополучным. Год как год: и дождей сверх меры, и суши с избытком! Но какое-то обостренное внимание помню я чуть не к каждой его минуте. Мы все успевали делать вовремя. Пололи, подкармливали, прорежали, убирали именно в самый подходящий для этого день и час. Мы с Таней были как-то по-особенному возбуждены каждый день, и, по видимому, наша нацеленность на работу передавалась бригаде. Во всяком случае, нас всегда наши люди понимали с полуслова.

И, помню, с какой радостью в конце октября мы в последний раз собрались на заимке. Накануне закончили обмолот, все вывезли и убрали. И потому с легким сердцем пили, закусывали, потом запрягли лошадей, погрузили остаток инвентаря, посуду и длинным веселым обозом двинулись к селу. Всю дорогу горланили песни, озорничали

и дурачились, как школьники. Подъехали к конторе, но расходиться никому не хотелось. Во дворе расставили столы и снова пили, пели, веселились.

Подготовив отчеты, Таня уехала с ними в Красноярск. Вернулась она в приподнятом настроении. По итогам года Устьянский сортоучасток стал показательным, нас с ней обоих премировали двухмесячными окладами.

Сейчас я понимаю, что тот год был не просто удачным, но подозрительно удачным, мы должны были насторожиться. Но, наивные люди, мы наслаждались результатами своего труда. Забыли, что не может быть прекрасно на островке, окруженном морем неблагополучия. Очень скоро председатель колхоза Романюк, с которым до сих пор мы худо-бедно уживались, объявил нам войну.

Она прозвучала в форме вывешенного в правлении приказа, подводившего итоги года. Итоги эти были неутешительными для колхоза. Главное, колхоз не справился со сдачей государству продуктов животноводства. Приказ предписывал бригадира Балышева и пять членов его бригады, всю молодежь, направить на укрепление фермы. Когда же, получив это ужасное распоряжение, мы явились к Романюку за разъяснениями, нам было заявлено, что колхозные нужды много важнее наших игрушек с опытами, и ему видней, куда направлять кадры. Огорошенные, мы ринулись за помощью в район. Приехал агроном райзо Сергеев, долго и уныло уговаривал Романюка уступить. В конце концов тот согласился оставить нам пять человек, но из другой бригады, из соседней с Устьянском деревни. Располагалась она километров в трех от нашей заимки. Так мы потеряли Балышева, а с ним обученных Таней помощниц Лену и Марусю.

Все же это было лучше, чем ничего. Хотя теперь мне приходилось постоянно мотаться между двумя деревнями. Но,

в конце концов, мы и этот недостаток обратили себе в пользу: навоз стали доставлять не из одного, а из двух мест.

Казалось, конфликт улажен, и можно было продолжать спокойно работать. Но Романюк не успокоился. Как-то прибежала посыльная: заведующую сортоучастком срочно требовали в правление. Там очередная новость: в целях укрепления все того же животноводческого направления в колхоз приглашен новый зоотехник. Ему требуется дом для постоянного проживания. Предлагается... Ну, что именно — яснее ясного.

Сортоучастку был дан месячный срок для перебазирования. Куда? Указано на полуразрушенный дом рядом с клубом, где хранился инвентарь.

- Но в нем невозможно жить. Дом требует капитального ремонта.

- Вот и отремонтируйте. Возможностей у вас не меньше, чем у колхоза.

- А контору, лабораторию, инвентарь где разместить?

- Там и разместите!

Стало ясно, что Романюком взят твердый курс на ликвидацию сортоучастка. Мы ему сейчас как кость в горле. Но фоне наших успехов особенно видны его беспомощность, неумение организовать и возглавить дело. Недавний комсомольский деятель, он привык к тому, что вопросы решаются не в поле, не на общем собрании колхозников, а в келейных застольях с большими шефами, которые ценят превыше всего верность и не забывают ее. Несмотря на крупные провалы в хозяйстве, его то и дело нахваливала районная пресса, на пленумах он неизменно выдвигался то в счетную комиссию, то в мандатную. А реальный вес его — в личной дружбе с одним-двумя боссами районного масштаба. Потому он и держится с нами так уверенно и нагло.

Мы решили бороться. Таня обратилась в райзо. Все же это

учереждение хотя бы для сохранения лица обязано было поддерживать нас, представлявших агрономическую науку. Свет этой науки, что ни говори, падал и на их чиновничьи лица.

Приехала комиссия, составила акт. Объективно он был в нашу пользу. Существует договор между колхозом и сортоучастком. С обеих сторон он вроде бы выполняется. Оснований для его пересмотра никаких нет. Следовательно, договор нужно выполнять.

Но Романюка выводы комиссии не устроили. Видимо, он кому-то там позвонил, потому что родилась еще одна комиссия, еще один акт. Противоположный прежнему. Договор существует, но колхозу он навязан. Никакой реальной пользы хозяйству от него нет. Следовательно, колхоз вправе его расторгнуть.

С этим актом Романюк обратился в суд. Как потом выяснилось, повестку с вызовом нас в суд Романюк утаил. О том, что состоится суд, я узнал в день заседания утром и немедленно сообщил об этом Тане. Она на попутной машине немедленно выехала в Абан. Когда она появилась в суде, дело было уже рассмотрено, и судьи ушли на совещание. По телефону Таня связалась с судьей и сообщила ему об имеющемся акте райзо, существование которого Романюк, естественно, утаил. Судья попросил принести ему его. Вскоре явился агроном райзо с актом, и Романюк был посрамлен.

Суд вынес решение, что поскольку по делу поступило два противоположных взаимоисключающих заключения, решение откладывается до проверки независимой комиссией, назначенной теперь уже судом.

Романюк был взбешен. Теперь уже нас выживали открыто и нагло. Отказывали в технике, удобрениях, хотя это записано в договоре, под всевозможными предлогами опять снимали людей.

Стояли сухие солнечные дни. Созрела сортовая пшеница, но в течение недели мы не могли заполучить комбайн для жатвы. Когда, наконец, добились его, не оказалось машин для перевозки урожая. Горы отборного зерна скопились на току, и все мы с опаской смотрели на небо: вдруг дождь?

Таня поехала в Абан. Вообще, надо сказать, что поединок вела, в основном, она - я, как ссыльный, не имел возможности выезжать. Да и для меня это просто могло плохо кончиться. Она обратилась к председателю райисполкома Бородину. Недавний шеф сортоучастка, тот с руганью набросился на нее:

- Вы воображаете о себе черт знает что! Отказываетесь выполнять решения правления колхоза, завели склоку с председателем. Не даете ему нормально работать! Не забывайте, что хозяин там он, а не вы!

- Он, конечно, он! Но почему этот хозяин не дает и нам делать наше дело? Наоборот, он только и знает, что ставить палки в колеса! Не выделяет технику, транспорт. Продолжает снимать людей. Помогите хотя бы закончить год, и тогда...

- Что тогда? Опять вы будете ходить в героях, а он - плавать в дерьме, да? Неужели неясно, что у него своих забот по горло? О своем колхозе он должен думать или о вас?

- И мы работаем на колхоз! Весь урожай оставляем ему. Посмотрите, сколько хлеба лежит у нас на току. Да не просто хлеба, а первосортного семенного зерна. Самые урожайные сорта здесь. Используйте их председатель по назначению - все его проблемы будут решены. Кстати, и для района мы могли бы делать гораздо больше.

- Не воображайте о себе много. Без вас жили, без вас и дальше проживем!

В кабинете Бородина сидел еще один, незнакомый Тане человек. Неожиданно он вмешался в разговор:

- А ты был у них?

- Бывал, - отозвался предРИК небрежно. - Ничего

особенного. Копошатся на нескольких гектарах, каждое растение чуть не в лупу разглядывают. А потом гордятся, что получен урожай выше, чем в колхозе.

- У нас поле 120 гектаров! - возмущенно сказала Таня. - И вас я ни разу у себя не видела! С чужих слов говорите. Приезжайте! - обратилась она к незнакомцу, почувствовав в нем представителя власти. - Убедитесь, что мы не зря едим свой хлеб.

- Приедем! - неожиданно быстро пообещал незнакомец. Но ушла она ни с чем. Так и не добившись от Бородина поддержки, сделав еще кое-какие дела в райцентре, Таня на выезде стала голосовать попутную машину. Настроение было близким к отчаянию. Что делать? Куда обратиться? Выхода она не видела.

Вдруг с легким шуршанием подкатила бежевая "Победа", дверца распахнулась, и Таня увидела своего сегодняшнего собеседника, за его спиной сидел хорошо знакомый ей агроном Сергеев из райзо.

- Садитесь, мы к вам! - замахал он ей из машины. Когда тронулись, на ее немой вопрос он шепнул на ухо: - Новый первый секретарь райкома Шепилов! Едем посмотреть ваш сортоучасток.

Всю дорогу Шепилов расспрашивал Таню: где работала, как оказалась здесь, что удалось сделать за год? Расспросил о семье, детях. Не заезжая в село, они сразу направились в поле. Я издали увидел приближавшийся по палевой дороге легковой автомобиль. Он остановился у заимки, и из него вышли Таня с двумя мужчинами. У меня сразу мелькнула мысль, что, возможно, это не мимолетное событие, а переломное в нашей работе. И я мысленно попытался взглянуть на хозяйство глазами гостей. Оно любому должно было показаться незаурядным.

Гречиха и просо стояли густой стеной. Пшеница и рожь

были уже скошены, несколько холмов отборного зерна лежали на гумне. И уже зеленели озимые, разбитые на квадраты по сортам и культурам, похожие на аккуратные лужайки для игры в гольф. Рабочие веяли, лопатили зерно, я на опытной делянке обмерял растения. Шепилов подошел к рабочим, поздоровался. Несколько минут он молча наблюдал за работой, потом попросил сделать перекур и предложил высказывать свои претензии, пожелания, жалобы. Людям не нужно было повторять дважды. Женщины наперебой загомонили о председателе колхоза Романюке, о том, что он творит с агрономами, с участком. Если колхоз отнимет контору, то агрономам негде станет жить, и они уедут. Тогда все труды могут пойти прахом. Романюк только и мечтает о том, чтобы развалить сортоучасток. А сколько труда в него вложено! Какие замечательные получены результаты!

Я и сам не знал многого из того, что услышал. Оказывается, Романюк не просыхая пьет горькую. Бросил семью с тремя детьми и завел себе новую жену, которую привез из райцентра. И именно для нее, а не для укрепления кадров животноводства нужен ему дом сортоучастка. Приятная неожиданность: нас с Таней они противопоставляли Романюку. Мы были для них гонимыми, как они сами. Защищая нас, они защищали себя.

Мы с Таней не высказывали своего мнения, и Шепилов не задал нам ни одного вопроса. Поговорив с членами бригады, обойдя поле, он попрощался и уехал.

25. НАВСТРЕЧУ НЕИЗВЕСТНОСТИ

Не знаю уж, какие слова сказал Шепилов председателю колхоза "Маяк", но с этого дня наше положение начало меняться. Романюк, хотя и разговаривал с Таней по-прежнему сквозь зубы, но работать больше не мешал. Технику выделял исправно, о выселении из дома не заикался, - короче, мы вздохнули с облегчением.

Через несколько дней в Устьянск снова приехал наш добрый знакомый и заступник из райзо Сергеев. Передал привет от Шепилова и, между прочим, его пожелание, чтобы мы не замыкались на своих опытных делах, а оказали помощь колхозу. Помогли ему встать на ноги, и тогда, возможно, сами собой исчезнут наши конфликты. В этом пожелании звучал упрек нам с Таней.

До сих пор я старался держаться подальше от колхозных дел. Слишком хорошо я помнил Валдгейм под Биробиджаном, колхоз "20 лет Октября" и тамошнего председателя Водовозова. Не забыл, естественно, и то, чем кончилась для меня война с ним. Но тут просил сам Шепилов - первое лицо в районе. Сергеев ждал ответа, Таня молчала. Вдруг я понял, что ответ должен дать я.

Мы объехали с Сергеевым колхозные поля, побывали на бригадных станах, на фермах, в мастерских. То, что я увидел, было ужасно. Поля так засорены, что местами сорняки заглушали хлеба. На каждом шагу попадались пустыри,

непросевы. Ясно, почему урожай не превышает 5-7 центнеров с гектара, в то время как у нас 25-30 центнеров. Собранный хлеб на токах горел, портился, но ни одна живая душа не поднимала тревоги, не брала за горло председателя, не бомбила депешами район. Наоборот, начальство приезжало само, суетилось, орало и угрожало, затем отбывало в полной уверенности, что сделало все от него зависящее для исправления положения. Мне же было очевидно, что единственное, что нужно, это остаться с бригадой и организовать дело. Перелопатить, просушить, вывезти полученный урожай, вовремя поднять зябь. Заразить людей беспокойством. Дать им хорошо заработать, а потом не забыть сказать "спасибо" за труд. На скотном дворе мы увидели грязные, давно не чищенные ясли, тощих животных и бездонное немеряное море навоза. Оказывается, отсюда ни разу не вывозили навоз на поля.

Вечером Сергеев затащил меня на заседание правления. Сам он выступил с панегириком в наш адрес, призвал заимствовать у нас передовую агротехнику, семенной фонд. И дернуло же меня тоже попросить слова. По напряженному молчанию присутствующих я понял, что мне не следовало этого делать. Ну, кому не известно о положении дел в колхозе? Какой оракул нашелся!

Бригадиры напустились на меня. Мне кричали, что они получают не по два килограмма зерна на трудодень, как у нас, а в четыре-пять раз меньше, и что лошади у них не раскормленные, а еле тащатся, и хранилища все худые, и со стороны легко говорить, а вот "попробовали бы как мы, с утра до вечера"... И все до одного защищали Романюка. Он не успевает. Ему трудно. Он должен обо всех думать. Любого поставь на его место...

Я растерянно озирался. В конторе было грязно, накурено, в нос ударяли самогонные пары. Романюк сидел полупьяный,

слушал выступавших с довольной, мстительной улыбкой. К концу собрания лицо его стало горделивым, победно-торжествующим.

Я видел, что многие из бригадиров по-своему привязаны к нему, при нем им живется сравнительно беззаботно. Люди у них мало получают на трудовень, но сами бригадиры без хлеба не сидят. Неведомым образом получаемого хватает им и на то, чтобы гнать самогон, и откармливать свиней. И колхозные лошади в их полном распоряжении, без дров и сена, следовательно, не сидят, без мяса и молока тоже, благо, кроме собственного подворья и ферма колхозная под боком, какая ни есть.

Все колхозное на ладан дышит, но бригадиры сыты, живут в тепле, горя не знают. При другом, требовательном и честном председателе колхоза, им жилось бы много беспокойней. И потому пока я помалкивал, они меня терпели, но стоило чуть-чуть потревожить их застоялое болото, как тут же полетели в меня возмущенные стрелы. Таким оказалось для меня очередное проявление "активной позиции".

Глупо было лезть в эту свару, особенно ссыльному и... еврею. Да, неожиданно мне снова напомнили о моей национальности. До сих пор я не чувствовал к себе неприязни, как к еврею, в этом отношении здесь было много лучше, чем в Биробиджане. Все деревенские и особенно члены нашей бригады относились к факту нашей национальности не безразлично даже, а с сочувствием, я бы сказал, с удивлением, открывая для себя привлекательные черты еврейского характера: привязанность к семье и к работе, трезвость, добросовестность. Мы всегда относились к ним, как к равным, готовы были поделиться последним. Так что миф о еврейской скаредности нами наглядно опровергался. А когда я рассказал им разные трагические случаи из многострадальной истории еврейского народа, в глазах у

женщин я увидел слезы. Но тут после своего выступления я услышал за спиной:

- Вот ведь еврейская натура: сам без роду-племени, а пытается нами командовать. Сам-то, небось, тыщи гребет!

Когда я рассказал о происшедшем Фриде, она неожиданно раскрыла мне глаза:

- Вы с Таней - странные люди. Живете словно вне времени и пространства! Как на необитаемом острове! Вы, наверное, и газет не читаете? Неужели ничего не слышали о процессе врачей? Ведь то, что происходит с вами, не более как отголосок этого процесса.

И она рассказала нам о последних событиях в стране: разгуле антисемитизма в связи с делом кремлевских врачей, разрыве отношений с Израилем, массовым увольнением евреев с занимаемых постов в армии, науке, государственном аппарате.

Я был потрясен. Узнал, что в эти месяцы, под барабанный шум и газетный вой процесса врачей, были расстреляны многие талантливые писатели, врачи, артисты - создатели советской еврейской культуры. Другие в застенках ждут своей участи. Сталин окончательно сбросил маску интернационалиста - всему миру открылось садистское лицо уголовного, антисемита, человеконенавистника.

Не успел я переварить эти известия, как пришло новое известие, ошеломляющее: он умер. Я видел неподдельные слезы деревенских баб, оплакивавших своего истязателя. Это было новым потрясением для меня. Мы стояли на площади перед клубом в толпе под черной тарелкой репродуктора и слушали о непоправимой беде, постигшей советский народ. Тут и там слышались всхлипы, группа школьников во главе с учительницей терли зареванные глаза. И только ссыльные стояли понурясь, угрюмые и молчаливые.

Мы не плакали, но и не злорадствовали - смерть Сталина

мало у кого поселила в душе надежды на быстрое освобождение. Наоборот, когда я читал в газетах сообщение о похоронах в Москве, видел фотографии соратников, одетых в траур, слышал их речи по радио, мне казалось, что его наследство незыблемо, вечно, непоколебимо. Теперь, когда он умер, еще больше казалось, что никто не посмеет нарушить установленный им порядок... Между тем, изменения происходили. У клеветницы Томашук отняли орден Ленина. Арестовали Берия, а нескольких его приспешников расстреляли.

Вскоре в краевой газете появилась большая хвалебная статья о нашем сортоучастке. Приехал с контрольной проверкой инспектор по сортоиспытанию Середа из Красноярска. Тоже дал о нас восторженный отзыв. Впору было петь и ликовать.

В самом деле, на участке все зеленело, бурно шло в рост. Опять зрел великолепный урожай. Мы получили приглашение на кустовое совещание в колхоз "Красный пахарь" Иланского района, где наряду с другими, выступили с рассказом о своей работе. Там познакомились с одноруким председателем "Красного пахаря" Семеновым Ильей Трофимычем, который раздобыл несколько лет назад мешок сортового картофеля, а сейчас уже засеивал им большое поле. Он заинтересовался нашими новыми сортами, вскоре приехал к нам сам посмотреть.

Приятно было возить этого веселого большого человека по полям, открывать ему амбары - его все интересовало. Бывший военный, в офицерской шинели с пустым рукавом, он выглядел контрастом Романюку, тоже воевавшему. Но какая огромная между ними разница: один вернулся с жадой труда, творчества, полный планов и надежд, другой - распушенный, отравленный навсегда видом копеечной, ничего не стоящей на войне жизни. Я то и дело наблюдал,

как Романюк с друзьями выползают пьяные из чайной. Его поддерживают, ведут под руки к машине. Все это на глазах у всех, буднично, привычно...

После ареста Берия нам с Таней больше не удастся укрываться в своем замкнутом удачливом мирке. Большой мир врывается каждодневными потрясениями и открытиями. Я сам не заметил, как оказался у Фриды, в центре политических разговоров и споров. Наступил час возмездия - так нам всем казалось - как же я мог остаться в стороне?

Три года я избегал общения с товарищами по несчастью, боясь окунуться в атмосферу обид, злобы, безнадежности. Фрида упрекала меня в высокомерии, в нежелании помочь братьям по несчастью. Но я боялся не кого-то из них, а самого себя. Сейчас эти люди вошли в нашу жизнь: кандидат наук химик Лернер, поэтесса Люба, работница торгпредства Евдокия Николаевна с мужем, вольным, приезжавшим к ней каждый месяц из Красноярска. Люба порывалась читать свои стихи, звучавшие в эти дни как-то особенно агрессивно. Лернер, рано состарившийся одинокий человек был попросту оглушен происходящим. Высоты ожидаемой свободы его больше пугали, чем радовали: с них открывались ему бездны недалекой смерти и других малоприятных вещей. Грустно было видеть его растерянное лицо - он был совершенно без будущего.

И только Евдокия Николаевна твердо знала, чего хочет: на нее уже пришел вызов с Красноярского завода, где работал муж, со дня на день она должна была получить справку об освобождении.

А ведь я уже фактически был свободен. Еще в марте инспектор Середа премировал меня путевкой в санаторий, и я вполне свободно выехал и провел месяц на берегу Енисея, под Красноярском. Затем так же свободно вернулся в Устьянск, где окунулся в работу. Чего еще, какой дополнительной свободы я ждал?

Но перед глазами всплывали старые друзья: Макаров, Гольдштейн, Королев. И те, что остались лежать в мерзлой земле Калымы - они взывали, обвиняли в забвении, бездействии, требовали наказать, разобраться. Они будили притупившуюся совесть, хрипели мне: продолжать жить так, как будто ничего не случилось, подло.

Эта сила подхватила меня и бросила в отлив, в волну отъездов. Сначала как зрителя и провожающего, пока еще не упаковавшего чемоданы. Каждый день я вижу, как уезжают из села люди. Уехали Фрида, Евдокия Николаевна. Что ни утро, то один-два отъезжающих с чемоданами и баулами голосуют перед моими окнами. Кучка провожающих машет им рукой, и в момент, когда машина трогается, я как бы разрываюсь надвое. С одной стороны, я с ними, трясусь в полуторке на пути в центр, в Москву, где осталась молодость, а, следовательно, можно как бы начать все сначала, а с другой - раздирают сомнения, голос разума подсказывает, что от добра добра не ищут, не надо никуда срываться, раз так удачно здесь повернулось дело.

Шепилов уговаривает остаться, рисует перспективы. Мне он предлагает место Романюка, уверяет, что недалек день, когда меня реабилитируют, восстановят в партии. Здесь нас знают, верят нам. Здесь мы будем иметь полную поддержку. Понимаю, что он прав. На любом новом месте придется начинать с нуля, пройти те неизбежные трудности, которые здесь уже позади. Пока к нам присмотрятся и притрутся, пока опять проявим себя, на это уйдут, может быть, годы.

Да, лучшее нас вряд ли где-нибудь ждет, и все же... Видно, от судьбы не уйдешь. Большой мир зовет, безудержно манит к себе. Грядут большие перемены. Как же без нас, без меня?.. В конце концов, Шепилов машет на нас рукой: "Делайте, как хотите!"

Постепенно Устьянск пустеет от ссыльных. К концу

августа, кроме Лернера, остались, пожалуй, только мы с Таней и поэтесса Люба, которой просто некуда ехать. Ей тоже страстно хочется в Москву, где в разных редакциях лежат посланные ею стихи. Если бы приняли к изданию сборник или хотя бы напечатали подборку в журнале, если бы у нее было хоть какое-то поэтическое имя! Каждый день она ждет ответа из редакции, но увы...

По вечерам мы пьем чай и слушаем ее стихи. Впрочем, это было всего раз или два, потому, наверное, и запомнилось. Некогда нам чаи распивать.

По-прежнему пропадаем на заимке, убираем, молотим, вывозим урожай, но что-то ушло из нашей работы, а может наоборот, вторглось в нее, чужеродное, враждебное ей. Это постоянные мысли об отъезде. Нас держит только необходимость закончить сельскохозяйственный год. Одна мысль в голове: закончить, отчитаться и уехать. И бригада чувствует наше настроение. Мы были для них своими до тех пор, пока у нас с ними было общее "завтра". Теперь "завтра" у нас разное: они остаются, а мы уезжаем. Дружбы между нами больше нет. Мы не ходим в баню к Балышеву, и к нам обращаются теперь только по делу. Наверняка между собой они говорят уже не столько о нас, сколько о нашем преемнике. Его рекомендовал сюда Шепилов. Думаю, лучшей кандидатуры, чем агроном Сергеев из райзо, и не найти.

Прощай, Устьянск! Я еще пожалею о тебе. Разумом понимаю, что совершаю ошибку. Но, видно, есть силы, которые побеждают здравый смысл: они подхватывают, не спрашивая, и несут. Поздно жалеть. Мы едем. Будь что будет!

Конец первой книги

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
1 Вопрос большой политики	12
2 Москва, год 1935-й	21
3 Лаврентьев, Блюхер и другие	36
4 Член бюро райкома	44
5 Агент иностранной державы	58
6 Следователь Нуждин	69
7 Свидание с женой	77
8 На этапе	85
9 Край земли - Колыма	96
10 Таня меня находит	109
11 Это мой папа	116
12 В двух шагах от дома	124
13 Цена свободы	133
14 В Валдгейме и на птичнике	141
15 Тайная жизнь	150
16 Назад в тюрьму	161
17 В круге втором	168
18 Сибирская ссылка	176
19 Откровение Яши	187
20 Обед у Королева	197
21 Переезд разрешен	206
22 Устьянск	211
23 Обречены на успех	220
24 И снова стена	231
25 Навстречу неизвестности	238



Книга Иосифа Баскина
"САЛЮТЫ и РАССТРЕЛЫ" -
документальное свидетельство
о строительстве по инициативе И. Сталина
Еврейской автономной области
на Дальнем востоке,
закончившемся для его участников
расстрелами, лагерями, ссылкой.

Книга издана при поддержке фонда
Союза Творческих Работников Израиля
и продюсерского агентства «STARLIGHT»
тел.: 03-5379548